

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Н. С. Лейтес

**ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ:
СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ**



Пермь 2015

УДК 82-94
ББК 84(2Рус-Рос)-6
Л 42

Лейтес Н.С.

Л 42 Из истории моей семьи: страницы воспоминаний /
Н. С. Лейтес; под ред. Р.С. Спивак; Перм. гос. нац.
исслед. ун-т. – Пермь, 2015. – 184 с.

ISBN 978-5-7944-2605-2

Книга написана известным российским ученым-германистом, доктором филологических наук, профессором кафедры зарубежной литературы Пермского государственного университета Наталией Самойловной Лейтес (1921–2011). В воспоминаниях о ее семье, родных и близких запечатлена не только история жизни нескольких поколений людей, так или иначе причастных русской и мировой литературе и культуре, но и история России уже минувшего XX столетия. Наталия Самойловна родилась в Украине, училась в Москве, работала в Ижевске и в Перми, защищалась в Грузии, а в конце века эмигрировала в США, где и завершила свои воспоминания.

Воспоминания Н. С. Лейтес адресованы ее детям и внукам, но будут, несомненно, интересны филологам, историкам и многим другим читателям.

УДК 82-94
ББК 84(2Рус-Рос)-6

*Печатается по решению ученого совета филологического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета*

ISBN 978-5-7944-2605-2

© Лейтес Н.С., 2015
© Спивак Р.С., предисловие, 2015
© Пермский государственный
национальный исследовательский
университет, 2015



ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Сегодня мемуары – обычный атрибут жизни старшего поколения современной интеллигенции. Это легко понять. Обращение к воспоминаниям вызвано потребностью осознать сложное, противоречивое, полное молодых сил, свершений и потерь, разочарований прошлое. Желанием рассказать о том, что не так давно известности не подлежало, заклеить ушедших от расплаты преступников и отдать дань сочувствия и уважения незаслуженно обойденным признанием героям.

Но сегодня все чаще пишут об обычных людях – не злодеях, не гениях и не святых: о себе, своей семье, соседях, коллегах, соучениках, друзьях. И неожиданно становится ясно, что их обычная, повседневная жизнь и составляет упругую плоть жизни исторической, предмета всеобщего интереса, без знания которой нельзя понять ни эпохи, ни времени. Поэтому книги воспоминаний наших старших соотечественников интересно и важно читать не только лично знакомым с автором, но всем думающим, рефлектирующим, кто «духовной жаждою томим» (вспомним Пушкина), старым и молодым, современникам XX и XXI века.

При всей неоспоримой субъективности любых воспоминаний они расширяют поля нашего внутреннего зрения (перефразируем медицинские термины), спасают от нравственной близорукости. В ряду таких живых свидетельств прошлого и настоящего занимают свое достойное место мемуары Натальи Самойловны Лейтес.

Эта книга – об одном большом семейном клане: его корнях, роде, разветвлениях, о свершениях и утратах его представителей, их радостях и горестях. О смерти старших и рождении новых его членов и их становлении, об их борьбе с препятствиями на их жизненном пути или капитуляции перед ними, свадьбах и разводах. Рассказ о самых разных судьбах обычных советских, а после эмиграции – бывших советских граждан – врачей, учителей музыки, чиновников, портных, компьютерщиков, журналистов, предпринимателей, профессоров, студентов. О вошедших в их жизнь и ее перекроивших исторических потрясениях и переломах – сталинском терроре, войне, эвакуации, разоблачении культа личности Сталина, хрущевской «оттепели», борьбе с космополитизмом, затем – с врачами-убийцами, перестройке, наконец эмиграции. Перед нами целостный огромный Космос со своими традициями, системой ценностей, социальными и национальными стереотипами мышления и поведения. И одновременно – модель сплавленных в одно целое разных конфликтующих между собой, но взаимосвя-

занных, воздействующих друг на друга сегментов единого социума советской страны.

На глазах читателя разворачивается широкая панорама богатой чувствами и размышлениями, надежд и страданий, динамичной, преисполненной драматизма жизни пяти поколений семьи. Она визуализируется в калейдоскопе разных судеб, непохожих друг на друга персонажей, разного масштаба событий – калейдоскопе, который, соответственно законам жанра мемуаров, заслоняет образ автора, лишает его объективности. Поэтому об авторе этих воспоминаний – крупной, яркой, неординарной личности – мне хочется рассказать отдельно, в дополнение к существующему тексту: ведь она органическая часть той общей картины частной и исторической жизни наших современников, которую она, как автор мемуаров, оживила.

Между нами было семнадцать лет разницы, но мы ее не ощущали, и она не помешала нам стать близкими друзьями. Это оказалось возможно, потому что Наталья Самойловна всегда была очень молода душой.

Она приехала в Пермский университет из Ижевска – красивая, в расцвете своих интеллектуальных и физических сил, с красивым, остроумным, все обо всем знающим мужем, Ари Яновичем Демьяновым, которого теперь мы бы назвали по его служебному положению топ-менеджером крупнейшей государственной компании, с тремя красавцами сыновьями. Я только что вернулась в Пермь из московской аспирантуры. Мы не расставались с семидесятых до начала девяностых годов – до ее вынужденного отъезда в США. Муж умер, дети эмигрировали.

Странной, яркой, полной открытий и потерь, творческих радостей и настоящей борьбы за право быть самим собой была наша жизнь 70–80-х годов. В ней можно было выделить три составляющие – как сказал бы Блок, «неслиянные» и «нераздельные» в то же время. Их сплав порождал острую напряженность, особую весомость каждой прожитой минуты, навсегда врезающейся в память. Я говорю о таких трех началах нашего тогдашнего существования, как «живая жизнь» естественных человеческих радостей, жизнь научная и идеологическая.

«Живую жизнь» Наталья Самойловна любила, понимала, что именно в ней скрыта первооснова бытия, – может быть, потому, что была любима мужем и поэтому сама всегда чувствовала себя женщиной, хранительницей жизни, а может быть, оттого, что прошла войну медсестрой в прифронтовом госпитале. И она любовно занималась домом и детьми, мужем и немолодой матерью. Устраивала приемы для

друзей, пекла большие яблочные пироги, редко, но с увлечением вязала и шила.

Мы тогда часто встречались одной постоянной компанией близких по мироощущению и политическим взглядам, любящих друг друга людей. Поводов встретиться и сил было много, желание увидеться, поговорить, обсудить ситуацию – всегда. В памяти живет много чудесных картин наших встреч. Например, такая. Мы все в особняке Демьяновых, в большой комнате с высокими старинными окнами и высокими старинными, расписанными по дереву дверьми, за которые поднял тост младший Демьянов, Алик, тогда еще школьник, когда ему на взрослом застолье впервые предоставили слово. Большой стол под белой льняной скатертью, уставленный хрустальными бокалами и закусками, посреди стола большой круглый яблочный пирог. За столом – трое красавцев сыновей Натальи Самойловны и красавец отец в белых рубашках. Мы сочиняли и разыгрывали шарады, много пели и танцевали, остряли и смеялись, читали и придумывали стихи. Иногда хором разучивали новые песни – Высоцкого, Окуджавы, песни, исполняемые Камбуровой, русские народные романсы. Запомнилось, как однажды к нам на «пир» зашли Кертманы (высокоуважаемые коллеги) и как у них от неожиданности округлились глаза, когда мы слаженно и самозабвенно грянули им навстречу «Солдатушки, бравы ребятушки...».

Наталья Самойловна любила море и хорошо плавала, но одновременно, как выросшая на Украине, тосковала по маленьким живописным, среди лиственных деревьев пролагающим себе дорогу узеньким речушкам, маленьким тихим городкам, утопающим в зелени. В Перми не было ни того, ни другого. Но и нашу уральскую природу она «приняла» в свою душу. Все свободные от занятий летние дни мы проводили на широком Чусовском заливе, взяв с собой нашу овчарку Рекса. У нас был старенький, все время ломающийся и требующий починки катерок, и мы на нем много плавали.

Однако более значимую часть нашей жизни занимала, как сказали бы теперь, жизнь духовная, интеллектуальная – разговоры, размышления об «интересном»: искусстве, нравственных ценностях и сущности бытия, нашем социуме и, конечно, о филологии. О науке мы говорили всегда и всюду – обсуждали каждую новую тему, новую концепцию, написанную кем-то из нас или только что задуманную статью, новый придуманный термин. На днях, прогуливая вечером собаку в компании двух известных в Перми врачей, я поинтересовалась входящим в практику медицины современным методом лечения сердца и почувствовала, что мой вопрос вызвал раздражение. Мне ответили решительно и

резко: «За стенами больницы мы не говорим о работе». Я удивилась: «А мы говорим...» «Конечно, – возразили мне, – говорить об Ахматовой и Мандельштаме всегда приятно».

Но дело в том, что для нас наша работа, в том числе работа научная, была органической, неотделимой от всех других форм жизни частью. И когда мы говорили о литературе, мы не развлекались и не отдыхали, а как раз продолжали работать – к нашему всеобщему удовольствию, творчески, радостно, в полную силу наших интеллектуальных возможностей. Мы думали и говорили о литературе и литературоведении на любых наших сборищах – за праздничным столом и во время уборки квартиры (если кто-то из наших приходил помочь, например, во время ремонта), за городом, на берегу Камы и в поезде по дороге с очередной конференции. Что только мы не обсуждали! Этапы развития литературного процесса, новый взгляд на человека в литературе XX века, эволюцию жанра романа, которой Наталья Самойловна серьезно занималась, проблемы метода в русской и немецкой литературной науке и «вечные образы» в искусстве и их архетипы (тоже тема Натальи Самойловны, к которой она обратилась в отечественном литературоведении едва ли не первая). В атмосфере этих разговоров, споров, обсуждений каждой новой версии рождались, «обкатывались», получали апробацию книги и статьи Натальи Самойловны, которые легли в основу ее докторской диссертации. Какая это была прекрасная научная школа для всех нас! И как мне ее не хватает по сей день, когда по разным причинам наша компания перестала существовать! И я с горечью повторяю бессмертные пушкинские слова: «Одних уж нет, а те далече...». Мы ведь не просто «говорили», мы – думали, создавали и корректировали наши концепции, осваивали появляющиеся новые методологии анализа.

Запомнилось, как однажды Римма Васильевна (наша заведующая кафедрой) с удивлением рассказала мне как о чем-то странном, для нее непривычном (она работала в одиночку), что, когда она готовила обед, к ней зашла Наталья Самойловна поделиться, как она, стирая очередную стопу мужских сорочек (в семье четыре щеголя), поняла, чем отличается подход к изображению человека в XX веке от его изображения в XIX. А дело в том, что Наталья Самойловна думала, а значит «работала», в любых условиях – за стиркой, приготовлением обеда, мытьем посуды, по дороге в университет. Это был ее образ жизни – настоящего научного работника, который не может провести границу между временем, когда он работает и когда отдыхает. Таким настоящим профессором ее видели и воспринимали все окружающие.

Она была в дружеских отношениях с известными литературоведами, ценившими ее талант, – Е.М.Мелетинским, А.М.Гуревичем, Н.С.Павловой, А.В.Карельским, Т.Л.Мотылевой, Б.О.Корманом, Б.Ф.Егоровым и др. – и признанным авторитетом для целой плеяды тогда еще молодых ученых Ленинграда, Воронежа, Свердловска, Томска, Новосибирска, Уфы, Риги, Даугавпилса, готовящихся к защите своих докторских диссертаций и успешно их затем защитивших.

В те 70–80-е годы в нашу научную жизнь ее неотъемлемой частью вошли Всесоюзные научные конференции. Наталья Самойловна всюду, где они проводились, была желанным, авторитетнейшим их участником. Ее выступления ждали с нетерпением.

В отечественной науке она была известна прежде всего как германистка. Объектами ее глубоких исследований были Т. Манн, Б. Брехт, Г. Гессе, Г. Бель, З. Ленц, А. Келлерман, А. Зегерс, К. Вольф, Г. Кант, Э. Носсак. Высокую оценку специалистов получили также ее наблюдения над индивидуальными стилистическими решениями и формами психологического анализа писателей Западной и Восточной Европы, США и Латинской Америки (О. Генри, К. Воннегута, Дж. Фаулза, Г. Маркеса, С. Беллоу, Г. Миллера, А. Камю, А. Мердок и мн. др.)

Наталья Самойловна ввела в науку новые понятия, связанные с ее теоретическими обобщениями в области изучения структуры художественной философии, – «универсализм образов», «роман непрямого изображения», «травестирование традиций», «целостное время», «двойное кодирование» – доказательство работы настоящего ученого. На книгах Натальи Самойловны под скромным грифом учебных пособий (без этого грифа в провинции не публиковали), которые по существу были научными монографиями, выросло несколько поколений молодых филологов: «Немецкий роман 1918–1945 годов. Эволюция жанра» (1976), «Черты поэтики немецкой литературы» (1980), «Роман как художественная система» (1985), «От Фауста до наших дней» (1987), «Конечное и бесконечное: Размышление о литературе XX века» (1992).

Работам Натальи Самойловны свойственно редкое сегодня соединение оригинальной мысли с ясностью ее выражения, отсутствием всякой претенциозности. Ее формулировки и выводы звучат так понятно, что не сразу осознаешь в них научное открытие. Мне хочется в этой связи привести несколько строк из ее последней книги. Речь идет о психологических парадоксах в литературе XX столетия: «...дойдя до предельных глубин индивидуального своеобразия личности, автор оказывается перед лицом родовой природы человека», а «неповторимость личности состоит в неповторимом сочетании внеличностного»

(Лейтес Н. С. Конечное и бесконечное. Размышление о литературе XX в.: мировидение и поэтика. Пермь, 1992. С. 52).

В научной жизни нашего факультета появление Натальи Самойловны сопровождалось революцией в предмете научного исследования: с ее приходом идеологический аспект авторской позиции был потеснен поэтикой в широком, литературоведческом смысле. Предметом анализа в работах Натальи Самойловны была художественная структура произведения, которая в ее интерпретации открывала путь к пониманию содержания художественного целого. Эта методология быстро завоевывала в семидесятые годы признание и в то же время вызывала озлобленное сопротивление «идеологических зубров». Научные предпочтения Натальи Самойловны открывали молодым филологам новые творческие перспективы, для многих стали руководством в научной и педагогической деятельности. Лекции Натальи Самойловны привлекали студентов и с других курсов, число желающих попасть к ней в аспирантуру росло, аспиранты гордились возможностью научного общения с ней как руководителем. Она совмещала в себе талант историка литературы и теоретика: например, едва ли не первая в отечественном литературоведении уловила такую особенность мирового литературного процесса, как смещение интереса от индивидуального характера человека в сторону антропологии личности.

Кафедра зарубежной литературы Пермского университета снискала уважение в России и за рубежом прежде всего благодаря научному авторитету Натальи Самойловны. Я могу так считать на основании моих бесед с коллегами во многих городах на многочисленных конференциях и заседаниях диссертационных советов, в работе которых я принимала участие.

Однако именно научный авторитет Натальи Самойловны, как и независимость ее мышления и поведения, был источником множества неприятностей и бед, которые отягчали ее существование на протяжении всех лет работы. Заведующий кафедрой зарубежной литературы А.А.Бельский, циничный рутинер, много лет возглавлял на факультете все, что можно было возглавить (кафедру, редколлегию, деканат); его жена и вдохновитель его карательной активности Р.Ф.Яшенькина заведовала работой философского семинара филологов и была членом всех комиссий парткома университета по проверке идеологической чистоты преподавателей. В их руках, таким образом, была громадная власть над профессорско-преподавательским составом факультета. Горестным результатом таких обстоятельств стала постоянная, изматывающая борьба Натальи Самойловны за свое научное, профессио-

нальное выживание, за право на свое мнение и слово и, наконец, просто на работу в университете. Наталья Самойловна вызывала их ревность, по всей видимости, тревогу за прочность их карьеры, болезненное желание «поставить ее на место», их раздражал ее талант, с которым они не могли тягаться.

В 1965 году, почти сразу по приезде Натальи Самойловны в Пермь, мои друзья срочно вызвали меня из МГУ, где я проходила аспирантуру, в Пермь. Случилось нечто в университете до этого невиданное – открытое для всех желающих партийное собрание факультета с присутствием ректора и партбюро университета. Хрущевская «оттепель» доживала последние дни, но все-таки еще длилась. На повестке заседания стоял вопрос о поступившем в партбюро доносе А. А. Бельского и Р. Ф. Яшенькиной на гордость всего факультета – Римму Васильевну Комину и Наталью Самойловну Лейтес. Они обвинялись в том, что идеологически развращают студентов и молодых работников факультета. Это было бесприкрытое обвинение, тогда не требовавшее доказательств, перед ним всякое начальство немело. Нас, защитников наших любимцев, было много, обвинение сняли, но авторы доноса остались на своих местах, а конец «оттепели» упрочил их положение в университете и городе.

Эти годы ее профессиональной зрелости как преподавателя и научного работника были тяжелыми и одновременно радостными. Наталья Самойловна опубликовала пять книг (а в те времена публиковаться человеку из провинции было трудно), защитила докторскую диссертацию. Чтобы избежать очередных доносов в ВАК и срыва защиты, она защитилась далеко от дома, в Тбилиси, где в эти годы работали известные зарубежники с международным авторитетом, защитилась блестяще, упрочив свою известность в научных кругах.

Ее борьба за возможность работать в университете затянулась на 20 лет, обостряясь с каждой ее новой публикацией, докладом на ученом совете факультета, с каждой блестяще написанной под ее руководством дипломной работой студентов. Снова и снова приходилось доказывать, что «ты не верблюд и не намерен копать под Ламаншем туннель из Москвы в Лондон». Хорошо помню, как в момент очередной вспышки борьбы с «неверными» член партбюро университета, отвечающая за связь с КГБ, когда видела меня с Натальей Самойловной на территории университетского городка, торопилась перейти на другую сторону улицы, чтобы избежать необходимости поздороваться и не дать никому заподозрить ее в дружеском к нам отношении.

Но в крови Натальи Самойловны не был генетически заложен страх. Может быть, потому, что родилась еще в относительно свобод-

ные двадцатые годы и кончала легендарный ИФЛИ, рассадник вольномыслия, а может, потому, что прошла войну. Она приехала в наш университет столичной шестидесятиницей, настоящей московской интеллигенткой, хотя была родом из Запорожья, – живая, естественная и свободная в поведении и высказываниях, внутренне ориентированная не на смирение, а активность и инициативу, сопротивление всякому мракобесию, верящая в свою правоту.

Мне кажется, представление о времени, на которое пришлось жить Наталье Самойловны, и о ней в этом времени в какой-то степени дает написанное тогда мною шуточное поздравление ко дню ее рождения.

Нет, мы не Блоки, мы другие...

Года идут, и тяжелеет ноша
прожитых дней.

А жизнь полна и горьким,
и хорошим.

Куда полней!

И вечный бой! То с Бельским,
то с Раисой.

Вперед, вперед!

Тот бой за истину без компромиссов

Век в нашей памяти живет.

За Кафку бой, за Белля
и за Гесса,

Хоть стой, хоть плачь!

А доктор Лейтес

впереди прогресса

Несется вскачь!

Перед тобой давно склонились
низко

И Грузия и Русь.

С тобой и мглы – немецкой,
модернистской –

Я не боюсь.

Пусть ночь. Она сменится
днями.

А грянет гром –
Вы кликните –
и мы за Вас и с Вами
На бой пойдем.

У Натальи Самойловны я училась самоуважению, освобождению от всяких комплексов.

В ней не было и капли снобизма. Система общения людей в советском государстве строилась на соблюдении субординации и чиновничьей почитании, хотя чины были другие, нежели в царской России. Секретарь не только обкома, но и райкома не мог проводить досуг с дворником и, думаю, даже с рядовым учителем. Их разделяло много ступеней номенклатурной лестницы. Разные круги общения, что складывалось как-то само собой, были и у профессорско-преподавательского состава, и неостепененных лаборантов. Профессора в провинциальных вузах в шестидесятые годы были редкостью, они вместе с доцентами составляли высокую, немногочисленную элиту, знающую себе цену. Субординация в определенной степени лежала в основе поведения даже самых передовых профессоров и доцентов с самыми либеральными взглядами. Наталья Самойловна приехала в Пермь без пяти минут профессором, но открытая для общения с «социальными низами» вузовской иерархии – студентами, аспирантами, методистами, старыми и молодыми. И я тогда усвоила первый урок настоящего, «природного» демократизма, который сразу дала нам, сама того не замечая, Наталья Самойловна.

Незадолго до ее приезда наша кафедра встречала известного уважаемого профессора, который был приглашен читать спецкурс. Преподаватели готовили прием, по поводу которого дали мне и моей подруге, тоже лаборанту, задание: мне – удивить гостя знаменитым, домашнего приготовления маминым тортом, а моей подруге – тоже знаменитой квашеной капустой, которую умела готовить ее мама. Но при этом нас самих не пригласили, хотя бы формально. Мы приняли это как должное. Мой муж числился инженером при кафедре, и мы чувствовали себя соответственно нашему статусу, т.е. не представляющими интереса для преподавательской элиты.

Жила я тогда с семьей в полуподвале. Наталью Самойловну с мужем, занимавшим высокую должность в Совнархозе, поселили в старинном особнячке недалеко от нас. И как же мы были поражены, когда однажды вечером они постучали в наше окошко и пригласили погулять вместе с ними – просто так, без всякого повода, пообщаться, поговорить. Вся лестница субординации была опрокинута.

Наталья Самойловна социальных «уровней» не принимала во внимание и во взаимоотношениях с кафедральным начальством. Понятно, что самим своим видом, а тем более своими политическими и научными взглядами она действовала на малоталантливых карьеристов как красная тряпка на быка. Но она всегда оставалась самой собой – выступала на конференциях с новыми темами, готовила к защитам с боем отвоєванных у Бельского аспирантов, писала книги, стала, вопреки сопротивлению партийного начальства, профессором, устраивала приемы с яблочным пирогом для друзей. Конечно, в США она тосковала по работе, друзьям, но талант требовал реализации. И она в условиях, совсем не располагающих к научной деятельности, занималась в библиотеке, делала доклады своим высокообразованным соседям по дому, в котором жила вместе с другими бывшими россиянами, писала статьи и воспоминания. По телефону она рассказывала мне, что обнаружила нового для себя в Довлатове, Бродском, любимом ею О.Генри. Она открыла мне чрезвычайно интересного, большого современного израильского писателя А.Шалева. В наш последний разговор я спросила ее, чем она занимается. При этом я не имела в виду какие-то серьезные научные занятия. А она мне ответила, как будто извиняясь, что «ничем серьезным сейчас, к сожалению, заниматься не получается», но читает, гуляет, играет на фортепьяно, дописывает воспоминания. Ей было 90 лет.

Жизнь устроена так, что за счастье приходится расплачиваться горем. Она была первой, к кому я бросилась, когда мне сказали, что мама умерла, и когда рухнула моя первая семья. Она была рядом, когда мне грозило увольнение из университета как идеологически вредному элементу. С ней я ездила к морю лечить наших детей, и к ней, в США, летела через океан, чтобы познакомить ее с моим вторым мужем, который составил мое счастье. Тем, кто был с ней близок, никто и ничто ее не заменит.

Р.С.Спивак

ВВЕДЕНИЕ

Эти записки я задумала как рассказ для моих детей и внуков о жизни моих близких и моей собственной, чтобы, когда они повзрослеют настолько, что прошлое семьи станет им интересно, они смогли узнать о нем хотя бы в пределах моих воспоминаний. Не секрет, что молодые в советской империи были совершенно равнодушны к истории своего рода, да и не только молодые. Революционный призыв «отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног» сказался и в этой, чисто семейной, частной сфере.

Многие из нас не знают о молодых годах своих родителей, а тем более бабушек и дедушек, не говоря о более далеких предках. А ведь так важно знать свои корни, – зная их, легче понять себя. Я хочу в меру своих сил создать своего рода памятник моим родителям, моему мужу Ари Яновичу Демьянову (Осе), покинувшему нас в 64 года, нашему старшему сыну Евгению, погибшему от несчастного случая в возрасте 34 лет, а также матери Оси и его сестре – больше некому сделать это. Я хочу рассказать о тех, кто был частью меня и будет жить во мне, пока я жива.

Вся жизнь и мужа моего, и сына прошла в пределах истории советской империи. Женя умер 2 июля 1980 года, Ося – 21 марта 1985 года, всего за 3 недели до того, как Горбачев объявил о начале перестройки. Мне довелось пережить их, увидеть распад СССР, стать свидетелем и своего рода совиновником краха идеологии и режима социализма и окончательно расстаться с былыми иллюзиями, уже давно сильно подточенными жизнью. Иллюзий, надо признаться, в свое время хватало – мне стыдно и странно читать теперь некоторые из моих давних публикаций, относящихся к послевоенному времени, когда я писала для Запорожских областных газет: «Современная литература на Западе», «Сталин – знамя мира» и т.п. Какие стандартные, правоверные представления, в каких тисках была зажата мысль, как трудно ей было пробиться к свободной, своей дороге! Теперь, оглядываясь на прошлое, да еще из американского далека, я ясно вижу, что мы жили не только в рамках системы, но и вне ее, в духовном смысле, конечно. Ведь мы были практически невыездные, жили «за железным занавесом», узнавали о том, что происходит в мире, из советских газет и радио, не отличавшихся правдивостью, и потому о многом не знали.

Но невозможно, чтобы живое не отшатнулось от мертвого, не потянулось к живому. Многие – люди известные и неизвестные – ныне, на рубеже веков, после крушения лагеря социализма, в ситуации кризиса и трудных попыток перестройки жизни целых народов и личных

судеб, пишут воспоминания. Во многих из таких книг есть своя внутренняя тема. Они разные – рассказ о пережитом, покаяние в былых заблуждениях, рассказ о своем прозрении, попытка на своем примере показать, куда могли завести революционно-романтические идеи, внушенные большевистской пропагандой, стремление разобраться в окружающем, стремление разобраться в себе.

Я писала эти заметки, движимая, как я теперь понимаю, «Нежеланием Расставаться». Это слова не мои, я нашла их у любимого мною Фазиля Искандера. Писатель обозначил ими то, что для него в искусстве самое главное. В его рассказе «Палермо – Нью-Йорк» я прочитала: «И чем значительней то, о чем рассказывает искусство, тем точнее сокрыта в нем эта вечная страсть любящей души – Нежелание Расставаться». Смею думать – это и обо мне. Я, конечно, не причислю свои записки к искусству, но полагаю, что Нежелание Расставаться подтолкнуло и мою руку к перу. Нежелание Расставаться с родными, с друзьями, со временем моей жизни, с персонажами и событиями реальными и воображаемыми, с миром моих привязанностей, стремлений и впечатлений, с внутренними исканиями, радостями и печалью. Это и рассказ, и исповедь, и выражение благодарности и любви к тем, кто помогал сохранить душевные силы мне, мужу, нашим детям, это попытка свидетельства и голос памяти сердца.

Семья наша ничем не знаменита – обыкновенная еврейская семья, судьба которой достаточно характерна для интеллигенции еврейского происхождения в СССР. Как и большинство других, мы долго были полуслепыми, но жили не бездумно, задавались вопросами, пытались понять окружающий нас мир и, могу утверждать, никогда не лакействовали, а отстаивали, как могли, свои представления о человеческом и профессиональном достоинстве.

Мой замысел, само собой, уже по определению таит в себе сюжет не только частного значения. Понятно, что судьбы моих родителей и прародителей, моя с мужем судьба и судьбы наших детей, при всех их индивидуальных особенностях, теснейше связаны с нелегкой историей страны, в которой нам довелось родиться, что они тоже – часть ее истории. История человеческих множеств складывается из индивидуальных судеб и деяний, а в каждой индивидуальной судьбе, при всей ее неповторимости, варьируются общие судьбы. История нашей семьи подтверждает эту не новую истину не менее убедительно, чем любая другая. В перипетиях нашей и драматической и счастливой жизни, зачастую весьма непростых, если взглянуть, можно ясно увидеть пересечение семейных традиций, индивидуальных особенностей и поворотов истории.

Память, наверное, в чем-то подводит, но одно воспоминание пробуждает другое, а это – третье, и т.д., и т.д. Мне жаль, что я догадалась взяться за эту работу только теперь, после того, как все те, кого еще можно было спросить о прошлом семьи, ушли из жизни. Годы уже прошли с тех пор, как не стало и моего мужа, а он знал и помнил много больше, чем я. Он всегда был мне первым помощником во всех моих делах, равнодушным читателем и требовательным редактором всех моих сочинений. Он мог бы многое и подсказать и уточнить. Мы, наверное, писали бы это вместе. Но что поделаешь? Придется справиться самой.

Я не вела дневники, у меня сохранилось немного документов, но есть фотографии, есть письма мужа, сыновей, родителей, друзей. Я буду записывать все, что удастся вспомнить, подряд, ничего не отбрасывая из проблемных или стилистических соображений. Может быть, то, что сейчас представляется мелочью, позже окажется интересным с какой-либо стороны. Выйдет, наверное, но очень связно, будут пропуски, будут повторы, но это, видимо, неизбежные издержки жанра. Как бы то ни было, я решаюсь на это предприятие, и будь, что будет.

НАЧАЛО. МОИ РОДИТЕЛИ. МОЕ ДЕТСТВО. ЗАПОРОЖЬЕ

В 1988 году, когда я была на стажировке в Москве и жила в общежитии МГУ, я вдруг получила пересланное мне из Перми письмо от некоего Леонида Веняминовича Лейтеса, о котором никогда не слышала прежде. Оказалось, что Леонид Веняминович, московский инженер, кандидат технических наук, занят изучением родословного древа Лейтесов и уже многое сделал на этом пути. Он нашел многих и разных Лейтесов в разных городах России, Белоруссии и Украины, обнаружил их в Германии и США, попытался составить схему родовых связей между ними, начертил отдельные родословные ветви. Обо мне он узнал благодаря моей книге очерков по истории немецкой литературы «От Фауста до наших дней», вышедшей в 1987 году в издательстве «Просвещение». Кто-то принес ему эту книжку, и он через издательство узнал мой адрес. В письме был его телефон, я ему позвонила, и мы с моим младшим сыном Аликом, учившимся в то время в Московском университете, пошли к нему. Он жил в высотке у станции метро Лермонтовская. В этом доме я уже бывала. В нем в свое время жил известный актер Борис Чирков. Мой муж был хорошо знаком с

ним и его женой актрисой Людмилой Геникой, навещал их, и я тоже иной раз заходила к ним, когда приезжала в Москву.

Знакомство с Леонидом Веньяминовичем оказалось небезынтересным. Там ждал меня мой однофамилец и почти что тезка, бывший сокурсник по ИФЛИ, ставший ученым-психологом, Натан Соломонович Лейтес. Увидев меня, он воскликнул: «Так вот кто брал в библиотеке книги, которые требовали с меня!» Мы посмеялись, обменялись биографической информацией. Леонид Веньяминович показал нам свои обширные записи о генеалогических разветвлениях древа Лейтесов и дал прочитать письмо, полученное им из Западной Германии от некоего Грегори Лейтиса, ведущего такие же изыскания. Грегори удалось установить, что на территории Литвы на Верхней Двине находится захоронение некоего Григориуса Лейтиса, датированное 1158 годом, а слово *лейтис* означает одновременно *литовец* и *кузнец*.

Потомок Григориуса Владислав в 1252 году перешел в христианскую веру. Потомок Владислава, тоже Владислав, в 1410 году женился на польской княжне Анне Понятовской. От него происходят две ветви – в Дюнабурге и в Кройцбурге. В связи с избранием в 1764 году королем Польши Станислава Понятовского, Екатерина II подтвердила знатность рода Лейтисов из Литвы. При разделе Польши в 1790 году Фридрих II Прусский признал приставку *фон* к их фамилии, означавшую принадлежность к дворянскому сословию. Михаил Грегори Лейтис отказался от этой чести и ушел в русскую часть Литвы. По устному преданию один из Лейтисов в XVIII веке женился на еврейке, потерял все свои дворянские привилегии, перешел в иудейскую веру и эмигрировал в Россию. Его потомки сменили в своей фамилии букву *и* на *е*. Лейтисы исповедовали католицизм, Лейтесы – иудаизм. Не знаю, насколько все это достоверно, но письмо Грегори Лейтиса я видела собственными глазами.

Хочу также рассказать историю, однажды неуверенно поведенную мне мамой. Когда уже не было ни папы, ни его сестер и не у кого было спросить, правда ли это, мама сообщила со слов папы мне, что рассказала Лёне о том, что фамилия его прямых предков была не Лейтесы, а Моисеевы. Но в каком-то поколении, когда у кого-то из Моисеевых оказалось три сына, он записал двух из них на своих родственников Черняка и Лейтеса, чтобы они не попали в армию: единственного сына из семьи не брали. Вот такие есть у нас семейные предания. Может быть, так оно и было, а может быть, это только легенды. Примечательно, между прочим, что папину ветвь Лейтесов Леонид Веньяминович не сумел присоединить ни к какой другой, и она стоит особняком. И еще одно: фамилия Черняк мне хорошо знакома: двоюрод-

ные братья папы носили эту фамилию. Но Моисеевых не припомню, я не слышала ни о ком с такой фамилией среди папиных родных или знакомых.

А вот то, что у мужа моего была неродовая фамилия, известно наверняка. Его отец, Давид Янкель Эммануилович Яновский, участник революции 1917 года, придумал себе партийную кличку, составленную из первых букв своих имени, отчества и фамилии. Так появился Ян Эммануилович Демьянов, и эту придуманную фамилию унаследовали его дети и внуки.

И мои родители, и родители мужа родились в черте оседлости. Мои – на Украине, мужа – в Белоруссии. Их молодость пала на очень тревожное, исторически переломное время первой мировой войны и революции. В мемуарной книге поэта Д.Самойлова «Памятные записки» (замечу, кстати, что я хорошо его знала, он был моим ровесником и сокурсником по институту) есть примечательное размышление о двадцатых годах: «В том перелопачивании социальных слоев России, которое происходило в 20-е годы в городах..., в той перетряске и смещении главным было отпадение от среды. В России остались только «бывшие» или «будущие». Бывшие дворяне, бывшие купцы и заводчики, бывшее духовенство. И рядом будущие рабочие, будущая образованщина, будущие чиновники позднейших времен... На какой-то момент носителями культурной традиции оказались русские средние интеллигенты формирования конца XIX – начала XX века». Ими были и мои родители, хотя они были евреи и жили не в России, а на Украине. Они были интеллигентами и по образованию, и по профессии, и по духовному складу, хотя и принадлежали к первому поколению этого слоя. А вот моя свекровь, напротив, будучи внучкой раввина и дочерью бухгалтера, то есть потомственной интеллигенткой, решила уйти из этой среды и стать работницей, вступить в ряды пролетариата. Заразившись идеями времени, она уехала из родного дома в Варшаву и обучилась там шляпному делу.

В моей памяти сохранился облик бабушки и дедушки со стороны матери и бабушки со стороны отца. Дедушка со стороны отца был лесоторговцем. Он умер рано, всего в сорок лет, и я его не знала. В моем альбоме сохранилась фотография мужчины средних лет с удлинённым красивым лицом, – папа был на него очень похож – и только недавно мне стало известно со слов папиной двоюродной сестры Сарры (она, к сожалению, тоже уже умерла), что отца моего дедушки, то есть моего прадеда звали Яков; ни отчества, ни девичьей фамилии бабушки мне узнать не удалось. С фотографии, помещенной на той же странице альбома, смотрит на меня круглолицая, благообразная, старая, но все

еще красивая женщина в черном, с покрытой платком головой. Это она, папина мама, пережившая мужа на добрых 40 лет.

Все та же тетя Сарра рассказала мне кое-какие (очень немногие) подробности из жизни семьи Лейтесов; она жила в юности там же, где и они, – в селе Веселые Терны Днепропетровской (прежде Екатеринославской) области. В ее рассказах видны некоторые особенности быта, характеров этой семьи. Лейтесы были не из бедных. У дедушки служили несколько приказчиков, бабушка их кормила. Она была скуповата и давала им к обеду не сметану, а простоквашу. Но один из приказчиков догадался, как заставить хозяйку отступить от этого правила: он сшил из серой ткани мышку и бросил ее в сметану. Это подействовало: бабушка отдала всю сметану приказчикам. Забавная история! Она мне напомнила эпизоды из ранних плутовских романов, например из классического произведения этого жанра, анонимного испанского романа XVII века «Лосарильо из Тормеса». Лосарильо запускал в кружку с вином своего слепого и скупого хозяина соломинку и высасывал все вино, хозяин же был уверен, что он выпил вино сам и удивлялся, что кружка опустела так быстро.

О моем папе тетя Сарра вспоминала, что он был очень веселым, любил компании, частенько выступал на вечеринках с кем-нибудь в паре, – его приятель читал стихи, спрятав руки, а папа прятался у него за спиной, жестикулировал вместо него. (Ося тоже любил выступать в подобном номере, я помню такие выступления с одним из их запорожских сослуживцев). Еще папа любил играть в преферанс, и Гите, жене Рафаила, пришлось однажды (а, может быть, и не однажды) выручать его, когда он задолжал своим партнерам. Гита, по словам тети Сарры, увлекалась революционными идеями, а хлеб печь не умела и лила слезы по этому поводу вместе с домработницей, такой же молодой неумехой. Тетя Сарра рассказала мне также об еврейском погроме. Семья бежала из родных мест, перебираясь с подводу на подводу. Добрались до Верхнеднепровска, где исправник погрома не допустил. Как видим, власть в те времена могла употребляться и во благо, если попадала в руки хорошего человека.

Перед эмиграцией в США я хотела съездить в Веселые Терны, но у меня не хватило на это ни времени, ни сил. Слишком много хлопот и расходов было перед отъездом и слишком сложными и дорогими стали разъезды по стране.

Я не помню девичьей фамилии бабушки со стороны матери, хотя мама мне ее называла. Помню, что бабушка Соня (Софья Моисеевна) была высокой, худощавой, держалась очень прямо, в отличие от бабушки Оли, которая в старости была совсем согнутой. Помню бабуш-

ку Соню в их с дедушкой квартире, а также на огороде, кажется при-
мыкавшем к их двору. Из их шестерых детей взрослыми стали четверо:
моя мать Мария (старшая), ее братья Эдуард и Леонид, и сестра
Дина (самая младшая, она была моложе моей матери на десять лет).
Первичные имена братьев были другими: кажется, Эдуард был при
рождении наречен Иделем, а Леонид – Ароном. Бабушка Соня умерла
65 лет. Помню, что умирая, она просила Дину сходить на могилу де-
душки и попросить его похлопотать за нее перед Богом. Дедушку зва-
ли Исаак Шпигель. До революции он был владельцем небольшой лав-
ки. Там продавалась разная хозяйственная мелочь. Я всего этого уже
не застала. Мама рассказывала, что в начале века, после очередного
еврейского погрома семья пыталась эмигрировать. Они доехали до
Берлина, но вернулись назад, испугавшись неизвестности. Дедушка,
которого я знала, был уже просто дедушкой, очень добрым, очень лю-
бящим своих внуков. Меня он водил на уроки музыки, в которой я,
надо признаться, так и не преуспела.

Все это было в городе Запорожье, прежде называвшемся Алек-
сандровск. Это был маленький провинциальный город на берегу Дне-
пра, реки широкой, глубоководной, красивой. Воды Днепра чудесно
сини, а берега песчаны. Мы любили плавни на острове Хортица, исто-
рическое место, где в свое время обитали запорожские казаки, что пи-
сали письмо турецкому султану. Там был светлый песок, росли дере-
вья и кусты; а в глубине были озера, покрытые лилиями. На остров,
такой большой, что его называли правым берегом, надо было пере-
правляться на лодке. На Хортице было великолепное купанье и ска-
зочный мир прибрежных зарослей и озер.

Но Днепр опасен. Его течение быстро, и в нем есть ямы, где воду
закручивает в спираль. В эти воронки, случалось, затягивало людей.
Так утонул Павлик, ученик, кажется, седьмого класса, сын друзей мо-
их родителей Злотниковых, тоже врачей.

Утонул десятиклассник Леня Жигалов, сын нашего учителя исто-
рии Алексея Кузьмича Жигалова, любимого нами.

Город несколько отстоял от берега. Между ними красовалась
большая дубовая роща, тогда еще естественная, нетронутая цивилиза-
цией, превратившей ее позднее в подобие заурядного городского сада.
Деревья были могучие, старые, гулять там было увлекательно и чуть
жутковато.

Город прославился благодаря знаменитому Днепрогэсу – одному
из первенцев пятилеток. Благодаря ему город стремительно и незна-
ваемо вырос, он стал крупным промышленным центром. Днепровская
плотина была тогда очень красива. Ее дуга пересекала воды Днепра,

выше нее разлилось настоящее синее море, а в ее проемы вырывался бурный водопад с кипящей пеной и далеко летящими брызгами – стихия природы будто вступала в поединок с поставленной ей преградой. Водопад был, конечно, не таким мощным и величественным, как Ниагара, но все же впечатляющим, и я вспомнила о Днепровской плотине, когда была на экскурсии в Канаде. Вода и на Днепре обрушивалась с большой (хоть и не такой большой) высоты и текла, долго бурля и пенясь, но постепенно все-таки затихала и уже затихшей, синей, омывала знаменитые днепровские пороги, и среди них высокую скалу, прозванную «Кресло Екатерины». В этой части Днепра были рыбацкие лодки, рыбаки сидели по скованным бетоном берегам. Тогда в Днепре еще водилось много рыбы. У нас к столу нередко бывал жареный сом – рыба крупная, жирная, не костистая. У плотины на правом берегу красовалась электростанция, а к левому примыкали шлюзы. Нам интересно было смотреть, как шлюзовались корабли, тем более что тогда это было в новинку.

Мы любили плотину и гордились ею, от нее веяло романтикой творческих дерзаний. Девочкой я мечтала стать строителем плотин и гидроэлектростанций, даром, что не имела никаких технических способностей.

Днепровская плотина теперь не так красива, как прежде: после войны к ней сделали пристрой, превративший ее в техническое сооружение, не более того. Вероятно, ее промышленная ценность возросла, но эстетическая, на мой взгляд, утратилась. Когда я в 1975 году увидела все это (я приезжала в мой родной город на юбилей нашего школьного учителя физики и математики Григория Евсеевича Кагана), мне стало очень жаль той давней плотины. Она была другая.

А с «Креслом Екатерины» у меня связано одно забавное впечатление. В дни юбилея Григория Евсеевича я отправилась к плотине, мне захотелось увидеть ее, оживить свои воспоминания. Это было в декабре. Вода в Днепре текла свободно, не скованная льдом, но «кресло» было покрыто сплошной белой шапкой. Это было красиво и удивительно. Мне показалось чудом, что снег, окруженный водой, не растаял. Но вдруг белая шапка поднялась в воздух: это были чайки. Чуда не случилось, все объяснялось просто, но поэтичность картины не стала от этого меньше.

Плотина строилась долго и трудно, вокруг нее вырос целый поселок. Его называли Шестым поселком или Соцгородом. Это название – Соцгород – встречалось в стране во многих местах. Позже, в Ижевске, мы тоже какое-то время жили в Соцгороде. Общей приметой таких поселков была удручающая стандартность. Все они вырастали вокруг

новостроек, возводились по скудному типовому проекту и страдали множеством недоделок.

С появлением Соцгорода Александровск стали называть Старым городом, между ними (Александровском и Шестым поселком) тянулся большой пустырь, поначалу застраивавшийся частными домами полу сельского типа, но постепенно их вытеснили новые многоэтажные сооружения. Пустырь заполнили, и город стал сплошным. Теперь он уже назывался Запорожье.

Мой отец приехал туда после Первой мировой войны, в 1918 или 1919 году. Дело отца, лесоторговлю, он продолжать не стал, его должен был унаследовать старший сын, Рафаил. Революция заставила Рафаила переориентироваться, и он пошел работать в банк. Младший сын, то есть мой отец, окончил зубоврачебную школу в Киеве, служил зубным врачом на фронте в первую мировую войну, а затем приехал практиковать в Александровск, где встретил маму и женился на ней. Ему было тогда 33 года, ей – 27.

Мама была одаренная пианистка. Она окончила Харьковское музыкальное училище и была принята на стипендию в Ленинградскую консерваторию в класс профессора Гольденвейзера. Но долго учиться ей не пришлось. Революционные беспорядки побудили дедушку отправиться за дочкой и забрать ее домой безопасности ради. Мама потом так и не возобновила учебу. Она прекрасно играла, была украшением домашних вечеров, довольно частых в нашем доме, периодически выступала как аккомпаниатор, а когда папе, работавшему и в поликлинике, и дома, пришлось под давлением властей отказаться от частной практики, когда он постарел и вынужден был перейти с должности главврача стоматологической поликлиники на ставку рядового врача, мама стала преподавать в музыкальной школе и проработала в этом качестве до 86 лет. Это была скромная, сдержанная женщина, с неброской, но изящной и благородной внешностью, очень отзывчивая, заботливая, порядочная. В ней была милая, вовсе не ханжеская стыдливость, она не терпела грубости, пошлости, лжи – при ней, казалось, просто никто не мог допустить подобное. Маму отличали редкая выносливость, добросовестность и самодисциплина. На моей памяти она, будучи уже далеко немолодой, каждое утро, в любых условиях делала зарядку и холодное обтирание. Я не могла с ней в этом сравниться, как и в ведении домашнего хозяйства – моя мама была замечательная хозяйка, очень умелая, не чуралась никакой работы. Когда катаракта сделала ее полуслепой, она вынуждена была оставить преподавание музыки. Это ее очень огорчало, она чувствовала, что силы ее не исчерпаны.

Я всегда стремилась быть во многом на нее похожей и мечтала, чтобы мой будущий муж был похож (не внешне, конечно, а внутренне) на моего папу, чтобы он был для меня такой же надежной опорой, какой папа был для мамы и для нас всех. Никогда я не видела, чтобы мама и папа пытались взять верх друг над другом, сводили друг с другом какие-то счеты, как это нередко случается ныне в молодых семьях. Каждый из них думал всегда в первую очередь не о себе, а о другом.

Папа казался мне блестящим человеком. Таким он, конечно, и был. Красивый, живой, остроумный. Вальсировал великолепно. Он был человеком светским, но и очень семейным, добрым, ответственным. Все трудное брал на себя и очень гордился своим умением улаживать дела в сложной ситуации. Очень любил семью, и ту, в которой родился, и ту, которую создал. По оставшимся его письмам видно, как много в нем было нежности, как он был эмоционален. Машины письма выглядят суше, она избегала громких слов, зато ее письма очень наглядны, в них всегда много подробностей реальной жизни, быта, забот, и, перечитывая их, как бы окунаешься в прошлое. Осе, моему мужу, очень нравились ее письма своей конкретностью.

Папа был специалистом высокого класса – и терапевтом, и хирургом, и ортопедом. В тридцатых годах он заочно окончил стоматологический факультет Харьковского мединститута и вскоре сделался главным стоматологом области. Он пользовался большим авторитетом и среди своих коллег, и среди больных. Выход на пенсию, когда ему уже было больше семидесяти, был для него настоящей трагедией, даже не потому, что пенсия была нищенской, – папа не мыслил себя вне работы.

Его старший брат Рафаил умер сравнительно рано (в 50 лет), и папа взял на себя заботу о его вдове Гите и дочери Жене. И о своих сестрах тоже. Старшей из них, Славы, к тому времени уже не было, я ее не застала, но оставались Соня, Маня, Гися и Куля. Хотя все они имели свои семьи, папа заботился обо всех. Все они жили в других городах, но близко от Запорожья (в Днепропетровске, Бердянске, Верхнеднепровске, Харькове). Связи были тесными. Часто ездили друг к другу. Если случались конфликты, папа, как правило, исполнял роль арбитра. Его мечтой было, чтобы его дети и внуки всегда жили рядом с ним. Но этой мечте суждено было сбыться только наполовину. Мне с мужем и детьми пришлось покинуть Запорожье и переехать на северо-восток России, в Ижевск, а затем в Пермь. Мы оказались далеко от Запорожья и не могли уже видеться чаще двух раз в году. В начале шестидесятых мама и папа оставили Запорожье и переехали в Харьков, где после окончания московского института обосновался мой младший

брат Юра с женой Идой; она тоже родом из Запорожья. Юра был замечательным сыном, очень заботился о маме и папе, помогал им во всем.

Мама и папа постоянно и много работали, жизнь семьи подчинялась определенному распорядку, уборка производилась ежедневно (мама была чистюля), пыль не допускалась нигде, на зиму заклеивались окна, трапезы приурочивались к определенному времени дня, за стол садились вместе (тогда это еще было возможно) и на свои места, папа – во главе стола, и т.п. Мама ждала от него, что он сядет рядом со мной. Что-то еще оставалось от старых патриархальных обычаев, и я понимаю теперь, как это было важно, – это ведь тоже цементировало семью. Недавно я слушала выступление писателя Бориса Васильева по телевидению, он вспоминал свои детские годы, проведенные им в семье деда, и говорил о том, как глубоко вошли в его сознание нравственные уроки, воспринимавшиеся им не из дедовых наставлений, а из уклада жизни семьи. Такие уроки способны поддерживать человека всю жизнь. Разрушение традиций семейного уклада – одна из тяжелых утрат человечества в XX веке. Большевистский режим с его отречением от старого мира активно этому способствовал. Есть, впрочем, семьи, в которых все же сохранились семейные традиции, но это достигнуто, я думаю, ценой немалых и каждодневных усилий.

Папа вел прием больных не только в поликлинике, но и дома. У него был кабинет, приемная, где ожидали больные, строгие часы приема. Папина работа была святое. В семье вообще был культ папы, мама старалась обеспечить ему условия и работы, и отдыха, а он обожал и маму и детей. Он был не очень здоровым человеком, а нагрузку тянул большую. В семье был достаток, но не было роскоши. Папа и мама не были накопителями. Они любили дружескую компанию, у них бывали веселые сборища с музыкой и танцами под мамин аккомпанемент. Летом они непременно отдыхали где-нибудь у реки или у моря, почти всегда с нами, детьми. Мы ездили и в деревню, и в Крым, и на Кавказ, и в Карпаты, и к Азовскому морю (в Бердянск, в Кирилловку, в Шепиловку).

Бабушка Оля (Перл-жемчужина), папина мама, жила сначала у старшего сына Рафаила в Днепропетровске, потом у нас, а умерла в Харькове, когда гостила у младшей дочери Кули. Она была очень богомольна и чувствовала себя, наверное, очень одинокой. Помню ее во всем черном, сидящей за столом в нашей большой столовой, а перед ней – зажженная свеча и молитвенник. Мы, дети, мешали ей молиться, пытаюсь перевоспитать ее в духе атеизма, дразнили ее, критиковали в домашней стенгазете. Она стучала палкой в пол и кричала на нас по-украински: «Чорты!». А еще она говорила: «Я верю в Бога, а ты – в Ленина. Это твой Бог». Неглупая была женщина.

Детей в нашей квартире было тогда целых четверо: я с Юрой и Дора Шток (на два года младше меня) со своим маленьким братишкой Тодиком, дети наших соседей – Моисея Ефимовича Штока, тоже врача, и его жены Розалии Моисеевны, очень милой и привлекательной женщины. Все мы жили в одной большой квартире.

Что еще запомнилось мне из детства? Наверное, не очень много. Наша квартира на втором этаже двухэтажного дома на главной улице, называвшейся раньше Соборной (собор снесли и на этом месте построили ничем не примечательную гостиницу), потом улицей Карла Либкнехта, а потом улицей Ленина. В этом тоже, наверное, по-своему отразился ход истории, смена приоритетов. Это был докторский дом, где жила элита нашего двора. Четыре квартиры, окна которых выходили не только во двор, но и на улицу, занимали четыре врача со своими семьями: на втором этаже жили мы и Штоки, а на первом по разным сторонам арки, заменявшей ворота во двор, – терапевт Монес Моисеевич Иоффе и венеролог Зелик Залманович Залманзон. Все четыре семьи были дружны, дети тоже дружили между собой.

В комнатах, где жили Штоки, когда-то останавливался проездом младший брат Ленина Дмитрий Ульянов. Монесу Моисеевичу запомнился шум попоек, устраиваемых Дмитрием. Он вообще очень скептически относился к советской власти и ее вождям и старался по возможности держаться в стороне от происходящих событий.

Квартира, в которой мы жили, была большая, но не отдельная. Наша семья занимала четыре, а потом три больших комнаты. Кроме нас и семьи Штоков, в ней, в небольшой комнате, выходившей в длинный коридор и служившей вначале приемной для больных, жила немолодая одинокая женщина Клара Григорьевна (не помню ее фамилии). Когда умерла бабушка (мамина мама), тетя Дина, тоже одинокая, поменялась с ней жильем и стала жить у нас.

Судьба Клары Григорьевны оказалась трагической. Она не сумела вовремя эвакуироваться и повесилась перед приходом немцев. Дина же, бывшая медсестрой, ушла на фронт и была, по слухам, расстреляна немцами. В 1942-м она пропала, письма от нее, до того регулярные, внезапно прекратились, и мы так и не получили никакого извещения о ее судьбе, несмотря на все наши запросы. Недавно, уже будучи в Америке, я послала данные о ней в редакцию русско-американского телевидения (WMNB) для издаваемой в России книги памяти евреев, погибших во Второй мировой войне.

Но вернусь в годы детства. Еще несколько штрихов из того времени.

Я – совсем маленькая, папа приносит мне большой игрушечный дом и ставит его на пол; дом высокий, в нем могут жить куклы. Папа ужасно горд своим подарком, я счастлива.

Новый год. Елка для детей. Много гостей. Я в костюме Снегурочки. Для подобных случаев был у меня также костюм бабы из сказки о репке. Мы, дети, разыгрывали ее.

А на школьный выпускной бал мне сшили японский костюм, ки-моно. Кажется, этот костюм не произвел того эффекта, на который я надеялась. Но это уже не из детства, а из юности.

Вспоминается трагикомический случай с Тодиком. Мы играли в прятки. Квартира была большая и позволяла такие игры. Тодик спрятался за портьерой у двери, ведущей в папин кабинет. Кто-то позвал: «Тодик! Тодик!». И вдруг раздался прямо сиплый рев, полный боли: Моисей Ефимович, крупный, высокий мужчина, в домашнем халате, весь в мыле, выбежал из ванной, решив почему-то, что Тодик упал с балкона. Так и вижу, как он в отчаянии бежит через нашу столовую. А Тодик, как ни в чем не бывало, выходит из-за портьеры.

Что еще? Я устраиваю дома школу, занимаюсь с моими подругами, которым литература дается хуже. Увлечательная игра.

Помню школу – четвертую школу, которой мы очень гордились, считая ее лучшей в городе. Она помещалась на улице Гоголя, я шла к ней по Тургеневской, бабушка с дедушкой жили кварталом ниже, на улице Горького, рядом была Пушкинская, так что имена писателей окружали меня со всех сторон. Тогда ученики еще любили свою школу, своих учителей. В школе было много учеников-евреев, я думаю, большинство. Бессменный директор школы – Любовь Марковна Файвышевская – тоже была еврейкой. В войну она погибла от рук немцев. Но до войны еврейского вопроса, во всяком случае, в нашей школе, не существовало. Школа была интеллигентной и демократической. Мне запомнились литературные вечера, «суды», диспуты на разные темы, спектакли. Их ставили не только на школьной сцене, но и на сцене городского театра. Помню спектакль по пьесе Тихонова «Сами» о мальчике-индусе, угнетаемом злыми империалистами. После спектакля выступал хор, исполнявший революционные песни на разных языках. Я участвовала в хоровом исполнении песни «Красный фронт» на немецком языке.

Юра учился в той же школе, и хотя мальчик он был озорной, учился очень хорошо. Большинство тогда училось хорошо, это было престижно в молодежной среде. Позже, как известно, отношение к школьной учебе стало другим.

Напротив нашей школы находился городской сад, где вечерами играла музыка и были танцы. Он занимал квартала два и казался мне тогда очень большим.

Дом, где мы жили, был расположен на главной улице. Помню, как мы смотрели с балкона нашей квартиры на праздничные парады и похоронные процессии, что проходили по мостовой. Мы и сами участвовали в праздничных парадах. Помню, как красиво ходила наша школа: в белых спортивных костюмах, особым строем, изображавшим то какое-нибудь патриотическое слово, то звезду или еще какую-нибудь подходящую к случаю фигуру. В Запорожье и первого мая, и седьмого ноября можно было ходить в белых костюмах. Проезжую часть улицы разделял на две полосы зеленый сквер; теперь там его уже, кажется, нет.

Помню наш двор, как бы поднимавшийся на пригорок. В глубине его была кирпичная стена, отделявшая наш двор от соседнего. Из небольшого ее пролома в дождливые дни бурным потоком сбегала вода. В квартире, кроме балкона, была большая веранда, выходящая во двор, и, стоя у ее перил, я могла подолгу смотреть на этот мини-водопад. Мне почему-то виделись в нем тигры, скачущие друг за другом. Город был южный. Снег в нем, бывало, шел, но не лежал. Сугробы подтаивали, образуя подобия причудливых сооружений с запутанными внутренними ходами. Мне они казались сказочными замками. На тротуарах и аллеях снег притаптывался, и мы катались на коньках. Я каталась весьма посредственно, но моего искусства оказалось достаточно, чтобы обучить ему потом моих детей, быстро оставивших меня далеко позади. А вот для лыжных прогулок нашего снега не хватало, и я так и не научилась ходить на лыжах, хотя жила потом много севернее.

Такое было у нас с мужем расхождение: он катался на лыжах (на коньках не умел), а я на коньках. И еще: он, выросший в Москве и знавший Подмосковье, любил лес, а я море и вообще широкое водное пространство. Он был соевой, я – жаворонком. Но это я отвлеклась. Добавлю только, что после Запорожья многие места казались мне холодными – даже Харьков, не говоря о уже Москве. Теперь-то я несколько закалилась и с трудом переношу жару. Я давно уже живу далеко от Запорожья, а теперь и в другом полушарии.

Училась я хорошо, в охотку. Была активной. Гордилась и октябрятской звездочкой, и пионерским галстуком. Ездила в пионерский лагерь в Бердянск. Что-то там критиковала в стенгазете. Когда мне исполнилось 15 лет, я с группой наших ребят стала готовиться в комсомол. К нам приходил паренек с авиазавода, который учил нас политграмоте. Это происходило в нашей квартире, в папиной приемной, когда она еще у него была. Нас было пять человек: Лёся Мильчин,

безнадежно влюбленный в меня; Абрам Сорока, в которого, тоже бесперспективно, была влюблена я; Юда Гальперин; кто-то еще из мальчиков, кажется Изя Перцович (до войны он учился со мной в одном институте, а в войну погиб), и я. Принимали нас в комсомол в два этапа, сначала на заводе, а потом в райкоме. Тогда эта процедура еще не была полуавтоматической. Меня на заводе не приняли из-за непролетарского происхождения, а в райкоме смилостивились. Помню, как папа открыл мне дверь и заключил меня в объятия, разделяя мою радость по поводу этой победы. Смешно теперь вспоминать.

Из этих моих розовых воспоминаний о детстве и отрочестве может создаться впечатление, что жизнь в Запорожье в те годы (1920–1930-е) была чуть ли не идиллической. Это, конечно, далеко не так. Просто мы, дети, многого еще не видели или видели, но не понимали. Время было трагическое: насильственная коллективизация, «раскулачивание», жестокий голод на Украине, разгул репрессий. В нашем дворе, в подвале, жила дворничиха Нюра, молодая, с маленькой дочкой, жила очень бедно. Говорили, что она подрабатывала также «древнейшей профессией». Она часто напивалась и устраивала шумные скандалы, избивая ребенка. На улицах города было много нищих, пришедших из сельской местности, много женщин, детей, стариков, истощенных, нередко распухших от голода, в жалких лохмотьях. Они часто стучались в двери нашей квартиры. Мы давали им что-нибудь из еды и вещей. Дора Шток (ныне по мужу – Тиктина, литературный псевдоним – Дора Штурман) в книге «Моя жизнь» тоже вспоминает об этом.

Еще помню, как папу вдруг вызвали в ГПУ, мы со страхом ждали худшего, но он через ночь вернулся. Его там допрашивали, требовали у него золото, полагая, что, раз он зубной врач, оно у него есть. Примерно в то же время арестовали папиного двоюродного брата Александра Черняка. Он погиб в заключении, был, скорее всего, расстрелян. Отца Лёси Мильчина, папиного коллегу, вызвали в ГПУ, кажется, по тому же поводу, что и папу. Его посадили, к счастью, ненадолго, но за это время в классе успели провести собрание и потребовать от Лёси, чтобы он осудил отца. Лёся этого не сделал. Тогда это почему-то обошлось для него без последствий. Лёся был хорошим, честным юношей. После школы он поступил в Ленинградский кораблестроительный институт, с началом войны пошел добровольно в армию и погиб на фронте. Многих из нашей школы постигла такая же участь.

Расскажу о трагедии, случившейся в начале тридцатых в семье Штоков. Когда Доре было десять лет, ее отец покончил с собой. Он вдруг нервно заболел, его отправили лечиться в санаторий в Одессе, но

вскоре оттуда пришла телеграмма, извещавшая о его смерти. Телеграмму перехватили мои родители, от Розалии Моисеевны скрыли ее текст, но сообщили, что с мужем не все в порядке, и она в сопровождении доктора Залманзона спешно выехала в Одессу. Оказалось, что небезызвестные органы настойчиво пытались привлечь Моисея Ефимовича к осведомительской деятельности. Он категорически отказался. Тогда ему стали угрожать, что пустят по миру его семью – жена пойдет на панель, дети станут беспризорниками. Он не сдался, но под воздействием этих угроз заболел. В санатории ему стало казаться, что тот, кто его вербовал, сидит напротив него в столовой. Хотя он допускал, что это могло быть галлюцинацией, он все же решил уйти из жизни, чтобы спасти от преследований свою семью, и сделал это. Моисей Ефимович Шток повесился. По свидетельству Доры, он оставил жене письмо, в котором, объяснив ситуацию, добавил, что ему не понятно, что происходит в стране, и нужно бы разобраться с этим. Через год после его гибели Розалия Моисеевна с детьми уехала в Харьков, где жила ее сестра. Для Доры же, когда она стала старше, строки из прощальной записки отца стали руководством к действию на всю последующую жизнь. Она стала исследовательницей, писательницей, публицистом, автором многих статей и книг, посвященных, прежде всего, критике теории и практики социализма и коммунизма. Ей пришлось пережить арест, годы лагеря, годы жизни в сельской глубинке Харьковской области, у нее долго не было права жить в городе, и к тому же был страх, что ее могут снова «замести». В селе Дора учительствовала в школе, сделалась ее директором и вступила в партию, поскольку этого требовала должность. А когда пришел документ о ее реабилитации, Дору исключили из партии за неискренность, то есть за сокрытие того факта, что она была репрессирована. Если бы она этого не скрыла, она вообще не получила бы работу. В 1972 году Дора с мужем Сергеем Тиктиным, дочерью, зятем и внуком эмигрировала в Израиль. Там она живет и работает по сей день. Под именем Дора Штурман (Штурман – девичья фамилия ее матери) она печатается во многих странах, в том числе и в России, главным образом, в престижном журнале «Новый мир». Во времена социалистической империи ее в советские издания не допускали.

О Доре, с которой я сохранила тесную дружбу и переписку, прерывавшуюся, правда, на то время, когда родственники и друзья эмигрантов становились жертвами недоброго внимания властей, мне еще доведется вспомнить на этих страницах.

ЮНОСТЬ. ИФЛИ. МОСКВА

Я окончила школу отличницей, что тогда вовсе не было чем-то особенным. Из нашего класса 19 человек окончили с «золотым аттестатом» – медалей тогда не давали. Я послала свои документы в институт, где уже училась Люся Залманзон. Она была старше меня на два года, но перешла тогда только на второй курс, так как поступила в ИФЛИ (Институт истории, философии и литературы) после года неудачных попыток закрепиться в МАИ (Московском авиационном институте). Она романтически начала с МАИ, но говорили, что сдать какой-то зачет пыталась 19 раз, потому что ни к математике, ни к физике не имела никакого отношения. ИФЛИ – это было для нее точным попаданием. Литературно она была одаренной, но училась неважно, так как слишком много было в ИФЛИ других впечатлений. В год, когда и я поступила туда, на последнем курсе учился поэт Александр Твардовский, я помню его в коридорах института. Там учился Константин Симонов, сдавал экзамены студент-заочник Александр Солженицын, в ИФЛИ был цвет литературной молодежи. Были молодые поэты, ставшие потом знаменитыми: Павел Коган, песню которого «Бригантина подымает паруса» поют и сегодня; Миша Молочко; Сергей Наровчатов; Давид Самойлов (его звали тогда Дэзик Кауфман); Семен Гудзенко (настоящее его имя было Саррик, Саррио, он рассказывал, что его называли так в честь итальянского коммуниста, с которым были дружны его родители); Зиновий Паперный; Исаак Рабинович (Изя, он стал прозаиком и печатался под псевдонимом И.Крамов); Лена Каган (она была женой Павла Когана, а после его гибели на фронте Второй мировой войны вышла замуж за Изю и потом овдовела снова, Лена тоже была на фронте в качестве переводчицы, она стала потом известной писательницей, печатающейся под псевдонимом Елена Ржевская). Дэзик учился на одном курсе со мной, Саррик – на курс младше, Павел, Лена, Миша, Сергей, Изя были старше и учились вместе с Люсей. Она с ними со всеми дружила. Была красивая, яркая (смуглая, с огромными синими глазами и большим чувственным ртом), очень живая, очень щедрая и расточительная. Денег ей вечно не хватало. Темпераментная была очень. Вечно в кого-то влюблялась. Страстным ее увлечением был знаменитый тенор И.С.Козловекий. Предметом гордости был случай, когда она прорвалась к нему за кулисы и поцеловала его с его милостивого разрешения.

Замечательная была рассказчица, с большим чувством юмора, и писала прямо-таки художественные письма, Память у нее была писательская, жаль, что она не оставила воспоминаний. Тем более, что и

после окончания института она сохранила свои связи с сокурсниками, часто виделась с ними и очень многое могла о них порассказать. К ней многие приезжали, когда она, жена адмирала Даниила Шинделя (ее сверстника-запорожца), жила в Севастополе. Младший брат Дани Лазарь учился на филологическом факультете МГУ (во время войны ИФЛИ присоединили к МГУ, где прежде не было филологического факультета) и стал известным критиком, печатающимся под псевдонимом Л.Лазарев. Он уже долгие годы работает в журнале «Вопросы литературы», ныне в качестве его главного редактора.

Мне в ИФЛИ была прямая дорога. Я в детстве писала стихи (достаточно бездарные, как я теперь понимаю, но я заразила этим Дору Шток, а из нее вышел толк), выделялась в классе своими сочинениями, докладами о писателях (например, о Байроне, портрет которого стоял у меня на столе), литературными увлечениями (одним из них, помнится, был тогда Гамсун), иногда завидовала спортивности моей подруги Тани Филановской. Моим идеалом в подростковом возрасте была пушкинская Татьяна Ларина. Я мечтала о широком знании литературы и философии и пугалась при мысли, что могу всего этого не узнать и что этот безбрежный духовный мир так и останется для меня неведомым и далеким.

Тут, конечно, сыграла роль наша школьная учительница литературы Раиса Захаровна Петрова. Ее молодость прошла в Москве. Она бывала в литературных кругах, знала Маяковского, других поэтов двадцатых годов, порой ссылалась на свои личные впечатления, но не хвастала и не злоупотребляла этим. Она была прекрасная учительница, увлеченная, демократичная, в меру строгая. Мы все ее обожали и, можно сказать, дружили с ней. Она меня любила. Как-то принесла мне в подарок слоника из уральского камня, предварив этим мое близкое знакомство с этим краем в будущем. Ясно вижу ее, худую, стройную, скромно и несколько мешковато одетую, с умным, добрым, слегка ироничным лицом. К сожалению, у меня не осталось ее фотографии.

У нас в школе, кроме уроков литературы, как я уже упоминала, бывали еще спектакли, дискуссии, суды над литературными героями. Был спектакль по «Герою нашего времени» Лермонтова. Был суд над Евгением Онегиным, убившим Ленского. Была дискуссия о Пушкине. Тема была «За что я люблю Пушкина». Я как раз тогда и проявила ту самую независимость суждений. В отличие от других, перечислявших достоинства поэта, я сказала, что люблю его просто за то, что он Пушкин, этого достаточно, и была, я думаю, права. Пушкин – этим все сказано. Какие уж тут перечисления?

Так вот, по всему по этому я и пошла вслед за Люсей на литературный факультет ИФЛИ, поступила на западное его отделение, так как в школьные годы учила немецкий не только в классе, но и с учительницей, немолодой, очень культурной женщиной «из бывших», Надеждой Федоровной Деревянко. Ходила к ней домой. Люся у нее же училась французскому.

В то лето (это был 1938 год) мы всей семьей отдыхали в Ялте. Вдруг пришла телеграмма от папиного московского друга, уведомлявшая, что меня в институт не приняли. Документы я просто послала по почте, уверенная, что все будет в порядке. Отличники не должны были сдавать вступительные экзамены, но папа все же попросил своего друга узнать, как мои дела. Получив нерадостное сообщение, мы с папой поспешили в Москву, явились на прием к директрисе этого заведения А.Карповой (чем-то она была знаменита, уже не помню, чем именно) и выяснили, что институту просто не хватает мест в общежитии. Папа пообещал, что я не буду на это претендовать, и меня приняли. Папа устроил меня на частной квартире с помощью друзей, но я вскоре выхлопотала себе общежитие, даже в министерство ради этого ходила (тогда это было доступно и для первокурсницы).

Учиться было необыкновенно интересно. Атмосфера была удивительная, очень творческая. Мы учились жадно, считалось постыдным не прочитать чего-то по литературе, пропустить интересную дискуссию. О ловкачестве и обмане преподавателей никто и не думал, когда речь шла о профилирующих дисциплинах. Это можно было себе позволить, лишь сдавая историю КПСС или что-нибудь в этом роде.

Уже на младших курсах мы научились работать в Ленинской библиотеке и в Библиотеке иностранной литературы. Когда потом, во время войны, наш институт перестал существовать, а его факультеты влились в МГУ, мы почувствовали огромную разницу, и не в пользу МГУ. Там не было того вольного воздуха, каким мы дышали в ИФЛИ.

В ИФЛИ были очень яркие студенты. Какие девочки там были! Все казались красавицами, как и мальчики – красавцами. Были дети знаменитостей – дочь Сергея Лазо Ада, дочь венгерского писателя Матэ Залки Талка (моя тезка), дочь известного автора учебника политграмоты Якова Волина Вика. Были безвестные таланты, которым еще предстояло стать знаменитыми (я их выше назвала, правда, не всех). Была прелестная девушка по прозвищу «Люся с ножками». Была другая Люся – Люся (Лия) Канторович. Это была замечательная девушка, незаурядно красивая, умница. Мы с ней учились в одной группе, как и с Фирой Зинде. Они были подругами, а потом мы подружи-

лись втроем. У каждой из них за плечами было более интересное прошлое, чем у меня, обыкновенной и поначалу робкой провинциалки.

Фира была очень уверенная в себе, раскованная, без всяких комплексов, живая, умная, очень контактная. Умела радоваться жизни в каждую данную минуту, чему я очень завидовала. Умела слушать, никогда не давила своим авторитетом, но воспринималась как старшая и умела настоять на своем. В общем, с ней было легко. Она осталась самым близким моим другом на всю жизнь. Ко времени поступления в институт Фира была уже замужем. В детстве она успела прожить несколько лет в Америке, чем, видимо, отчасти и объяснялось ее свободное самоощущение, училась там в школе, знала английский, как русский. Она поступила в немецкую группу, чтобы овладеть еще одним языком, но на пятом курсе перешла в английскую и работала потом всю жизнь как англист. Ее оставили на кафедре университета, и она стала профессором и доктором наук, известным ученым, имела много публикаций, много учеников со всего Союза, была составителем и редактором разных англо-русских словарей, в том числе Большого англо-русского словаря, издававшегося «Советской энциклопедией». Фира ушла из жизни через четыре года после Оси.

Лия Канторович на втором или третьем курсе перешла на русское отделение, написала работу о Чернышевском, вышла замуж, но тут началась война, оборвавшая ее так много обещавшую жизнь. Она окончила школу в Ижевске. До того Лия жила и училась в Москве, но ее отчим был военным, и семье приходилось переезжать. Когда я в пятидесятых годах попала в Ижевск, я услышала там о ней. В Ижевске очень ее любили; после ее гибели (она пошла добровольно на фронт медсестрой и погибла в первом же бою) ижевчане выпустили о ней книжку воспоминаний (эта книжка у меня есть).

Лия обратила на себя внимание многих, как только появилась на факультете. На первом же комсомольском собрании ее стали выдвигать в состав институтского комитета ВЛКСМ. Помню, как она вышла на сцену и стала отказываться, мотивируя тем, что она еще всего только первокурсница и опыт ее невелик. Ей вняли, и она стала работать в знаменитой стенгазете «Комсомолия». Стенгазета не была формальной. Она была по-настоящему интересной, в ней проходили свою первую школу наши начинающие публицисты, поэты, прозаики. Она была очень большой, ей не хватало одной стены, и ее заворачивали на соседнюю. Потом, в МГУ, стенгазета филологов тоже называлась «Комсомолия», она тоже была не лишена интереса и тоже была большая, но мне казалось, что это уже не то, что былая свобода интонации утеряна.

В ИФЛИ были редкостные преподаватели, многие – старой школы, не поддавшиеся давлению партии и режима: Владимир Романович Гриб, рано умерший от белокровия, Леонид Ефимович Пинский, Дмитрий Евгеньевич Михальчи, Пуришев, Ризель, Раддиг.

Незабываемый Пинский! Маленький, некрасивый, если судить о нем по стандартным нормам, но с прекрасным, вдохновенным лицом и копной волос, чем-то похожий на нынешнего Наума Коржавина, кстати тоже учившегося в ИФЛИ (тогда он звался Нема Мандель). Пинский никогда не становился за кафедру, а стоял сбоку от стола, глядя не на нас, а в сторону, в окно, и размышлял вслух, на наших глазах рождая новые соображения (или искусно имитируя этот процесс). Это он научил нас подлинному историзму в литературоведении, не социологическому, а эстетическому. Он учил нас, что мысли и чувства людей и историчны и вечны и что формы искусства живут и меняются. Нам казалось, что мы думаем вместе с ним. Это завораживало. Никакого ораторского искусства не требовалось, мы его и не ждали. До войны он с семьей жил в общезитии на Усачевке, где жила и я. После войны он был репрессирован и несколько лет провел в лагерях. Вернувшись в Москву, он жил, кажется, на одной из Песчаных улиц, и я его там навестила. Внешне он изменился мало. Внутренне тоже. Мы говорили о разном. В то время вышла его книга «Реализм эпохи Возрождения». Мне она очень понравилась, и я этого от него скрывать не стала. Он заметил в ответ, что в книге нет ничего нового, что все это он рассказывал нам в своем лекционном курсе и что он гордится тем, что верен своим идеям и не меняет их в угоду конъюнктуре. Он говорил, что СССР гниет и что это гниение лет на 200, не меньше. Я тогда сказала что-то о героях, о Прометее, который взял огонь у богов и отдал его людям. Леонид Ефимович воскликнул, возражая: «Не взял, а украл, украл!!» Он охотно встречался с бывшими своими студентами и вел себя при этом немного как оракул. Мне рассказывал мой сокурсник и друг, а потом коллега (он читал курс зарубежной литературы в пединституте Луганска, затем Свердловска, затем Владимира) Григорий Соломонович (Гриша) Слободкин, что он был у Пинского несколько раз и что в последние годы жизни он обратился к религии. Хозяевами жизни были тогда такие, как Самарин. Но о нем речь впереди.

Эльза Генриховна Ризель была австрийская эмигрантка, она приехала в СССР с мужем-инженером, увлеченная романтическими идеями и поверив в строительство новой жизни в нашей стране. Немало пришлось ей пережить в советской России. Она преподавала немецкий в нашей группе. Это была изящная, очень собранная женщина, мы восхищались ее преподавательским искусством, ее настойчивыми за-

нятиями гимнастикой и плаванием. Она во многом была для нас примером. Это она научила меня вглядываться в детали художественного текста и видеть смысловую нагрузку его стилиевых особенностей. С Эльзой Генриховной мы общались не только в аудитории, но бывали и у нее дома. Она жила в однокомнатной квартире в центре Москвы, в старом доме с очень высокими потолками; ее муж сам сделал в этой комнате антресоли и оборудовал там свой кабинет. Стоять там под потолком в полный рост он не мог, но сидеть за письменным столом – вполне. Для нас такое решение квартирного вопроса было неожиданным, и мы с интересом разглядывали это нововведение.

Сергей Иванович Радциг читал курс античной литературы. Он не говорил, а почти пел, вдохновленный своим предметом. От восторга и возбуждения он едва не вскакивал на стул, ходили даже слухи, что это случалось, хотя он был совсем не молод, с белой головой, с седой бородкой. Все это было спектаклем своего рода, иногда чуть смешным, но всегда увлекательным.

Лев Зиновьевич Копелев, высокий, вдохновенный, с крупной головой и пышной копной темных волос (позже голова облысела, а пышность перешла в его седую бороду) был тогда аспирантом и вел у нас семинар по творчеству Шиллера. Его диссертация называлась, насколько я помню, «Творчество Шиллера и Французская революция». В войну он был в армии переводчиком, был арестован «за гуманное отношение к врагу» (пытался защитить немецких женщин от бесчинств русских солдат), провел в лагерях 10 лет. Там он познакомился и подружился с Солженицыным, работал с ним вместе в шарашке. Вернувшись, он принял активное участие в правозащитном движении, сделался известным диссидентом. В Советском Союзе ему не давали работать, когда же он поехал по приглашению в ФРГ, его сразу же лишили гражданства. М.С.Горбачев вернул ему гражданские права, но Копелев не возвратился в Москву, хотя и приезжал туда и с женой Раисой Орловой, и без нее, когда ее не стало. В Москве оставались их дети, друзья, все их прошлое. Лева был человеком широкой души, у него с Раей в Москве был открытый дом, он помогал очень многим, помог и мне в важном для меня вопросе докторской защиты. Из-за пятого пункта мою работу нигде не хотели принять к защите. Лева посоветовал мне обратиться в Тбилиси, где у него были друзья, и составил мне протекцию к замечательному германисту, специалисту по творчеству Томаса Манна, Нодару Какабадзе. Он стал одним из оппонентов на моей защите. Я переписывалась и слевой, и с Нодаром, у меня есть их работы с дарственными надписями. Недавно Левы не

стало. В дни, когда я пишу эти строки (начало июля 1997 г.), пришло печальное известие о его кончине.

В семинаре Льва Копелева я сделала доклад о штурмерских драмах Шиллера, а до того, в семинаре Дмитрия Михайловича Михальчи, читавшего курс литературы Средних веков и Возрождения, о «Дон Кихоте» (о вставных новеллах в этом романе). Я тогда уже была знакома с Осей, и мой доклад о Сервантесе произвел на него впечатление – я выросла в его глазах. Помнится, эта работа легла в основу первого в моей жизни доклада на студенческой конференции.

На младших же курсах я узнала и Александра Абрамовича Аникста, с которым, как и с Копелевым, общалась позднее как с коллегой. Аникст, молодой, красивый, стройный, читал у нас спецкурс о мировом значении русской литературы. Он умер, если не ошибаюсь, в 1990 году. После войны у него из-за того же самого пятого пункта были трудности с устройством на работу, он стал научным сотрудником Института искусств, где обстановка была относительно либеральной. Аникст участвовал на первых ролях в издании собраний сочинений Шекспира, Гете, много писал о них, и не только о них, много печатался. Он оставил ряд интересных и ценных книг. Его замечательной, завидной особенностью было умение говорить увлекательно и доходчиво о самых сложных вещах, ничуть их не упрощая. В конце жизни Аникст начал работать над творчеством Бальзака, но смерть помешала ему завершить это начинание. Года через два после его кончины по телевидению показали фильм о нем с использованием его давних фотографий, и я живо вспомнила его молодым.

Но вернусь к сюжету моего рассказа. В середине первого курса я, живя в общежитии, простудилась и заболела экссудативным плевритом. Общежитие было на Усачевке рядом с Новодевичьим кладбищем, а институт – в Сокольническом лесу (там тогда был еще лес!), и приходилось ездить на занятия через весь город: на трамвае до станции метро Парк культуры или Кропоткинская, потом на метро до Сокольников и снова на трамвае в сторону завода «Богатырь». Было где простудиться.

Узнав о моей болезни, мама и папа приехали за мной и увезли меня домой. До сих пор помню их встревоженные и растерянные лица, когда они появились в общежитии и, приоткрыв дверь, заглянули в мою комнату. Это было в январе 1939 года. Я пробыла дома до летних каникул, не сдав часть зимней сессии и всю летнюю.

Дома меня откармливали, лечили. Я поправилась, пополнела, стала гулять и завела роман с сокурсником Тани Филановской Сергеем Сутченко. Таня училась в Запорожском Механическом институте.

Сергей был с Донбасса, высокий, красивый парень. Мы целовались в нашем подъезде. Но у меня все время было ощущение, что это все еще не настоящее.

Когда, наконец, я вернулась в Москву, Фира встретила меня на вокзале со своим соседом по дому и соучеником по школе. Это был Ося Демьянов, ставший моим любимым, моим мужем, отцом моих детей. Я сразу же угадала в нем человека интеллектуального склада, но не занудного, а игручего, артистичного, и заинтересовалась им. Он тоже сразу же обратил на меня внимание и стал активно за мной ухаживать. В его программу среди прочего входило «бдение» за мной, перехватывание писем от Сергея. Сергей однажды приехал в Москву повидаться со мной. Помню, Люся Залманзон сказала: «Наконец-то я вижу рядом с тобой настоящего мужчину». Но я перестала писать Сергею. У меня сохранилось его письмо, где он упрекает меня за это. Мои отношения с Осей становились все более прочными, хотя и не сразу стали такими. Но он был очень внимателен, очень заботлив, очень настойчив, и я не устояла перед ним.

Выглядел он, когда мы познакомились, довольно забавно. Незадолго до того он получил повестку в армию, и его «забрили»; его выразительный еврейский нос выделялся на этом фоне очень рельефно. Но это мне не помешало. В армию его тогда почему-то не взяли, может быть, из-за отца, в прошлом как-то связанного с Троцким, а может быть, что-то изменилось в военкоматских планах. И наш роман стал развиваться, хотя поначалу и не очень гладко. Помнится, по приезде я вначале какое-то время жила у Фиры, но недолго. Там негде было жить. Квартира была однокомнатная, с альковом. Фира жила с матерью Гиндой Семеновной и новорожденным братишкой Микой, отец ее был арестован, они взяли меня на квартиру, потому что нуждались в деньгах. Но получилось слишком тесно. Гинда Семеновна сказала мне об этом, и я ушла в общежитие.

Мы с Осей виделись почти каждый день, передавали друг другу записочки через Фиру. Ося жил в том же доме. Это был дом № 10 в Большом Гнездиновском переулке, так называемый дом Нерензея (наверное, по имени его бывшего хозяина), знаменитый своей плоской крышей, на которой был когда-то ресторан, а при мне бегали ребятишки, и своими жильцами, среди которых было много известных партийных деятелей, в конце тридцатых попавших под секиру сталинских репрессий. Фира жила на втором этаже, в кв. 206, а Ося – на четвертом, в кв. 413. Он учился в автодорожном институте на Садовом, выбрал его по расположению, близкому к его дому, после того, как его не приняли в Военную академию, куда он по молодости лет стремился.

Ося был одарен разносторонне: редкая память, высокая сообразительность, способности к точным наукам, вкус к гуманитарным, чувство юмора. И благородство, и доброта. Сам он пошел по технической части, видимо, считая ее более подходящей для мужчины, но был очень начитан, любил поэзию, с успехом занимался иностранными языками, охотно переводил, интересовался лингвистикой, легко слагал вирши, декламировал, писал шуточные пародии, играл словами, пел. Очень был игрuchий, искрометный, артистичный человек, и очень надежный. Было у него одно качество, которое я особенно ценила: он, как никто, умел снимать напряжение, и доводилось ему делать это достаточно часто, потому что жизнь наша была нелегкой.

Но это я уже снова забежала вперед. Вернусь к рубежу 1930–40-х.

Ося ходил к нам на лекции чаще, чем в свой институт, его знали наши преподаватели, принимая за студента-филолога. Он быстро, гораздо быстрее, чем я, перезнакомился со многими студентами нашего курса и стал своим среди них. Пинский даже сказал ему на перемене однажды: «Что-то я вас, молодой человек, на зачете не видел». Немцам мы обычно занимались во флигеле, во дворе института. Ося приходил и высвистывал меня, гуляя во дворе. Все в группе, включая Ризель, уже знали, что это за свист, и я выбегала к нему. И все же я долго сомневалась в своих чувствах, не скрывая от него своих сомнений. Однажды мы решили расстаться на время, проверить себя. Но через день или два я, спускаясь со второго этажа на первый с какой-то лекции, увидела его у стены, где висела «Комсомолия». Ося был в светлом плаще, он нагнулся, читая какую-то заметку, расположенную внизу листа, и держа руки за спиной, а в руках у него был пакет с мандаринами, которые я очень любила. Маленький Фирин брат Мика считал, что Ося – моя мама, потому что он мне мандарины приносит.

Однажды я сильно простудилась, и Ося привез мне в общежитие теплое одеяло, какао, еще что-то. Помню, я была сражена его вниманием. Прислал записку, что если со мной что-нибудь случится, он жить не будет. Впрочем, записка эта, кажется, была написана по другому поводу, в связи со слухами о чуме или холере, якобы появившейся в Москве. Было вообще тревожно, всякие слухи ходили. И вовсе не так уж далеко от Москвы шла война с Финляндией. Многие наши ребята воевали там, Миша Молочко, прекрасный юноша, многообещающий поэт, погиб на этой войне.

Помню, я как-то сказалась больной, занятой и отказалась от свидания. Ося все же приехал в общежитие и нашел меня на танцах. Очень сердился. Мы вышли с ним во двор общежития, где был ма-

ленький садик, и стали объясняться. Кажется, была весна, было, во всяком случае, тепло. Мы ходили по дорожкам сада, выясняли отношения. Ося тогда не умел танцевать, и ему было обидно, что я в тот вечер предпочла ему кого-то другого. Я стала учить его танцам, когда мы поехали в Запорожье, и он потом очень полюбил это занятие. Мы с ним танцевали очень много, при каждом подходящем случае, до самой его последней болезни.

Ося приехал в Запорожье в первый раз еще до свадьбы, летом. Папа, будучи в Москве, сказал, чтобы я пригласила своих друзей. Он, конечно, имел в виду несколько другой вариант, но я пригласила только Осю. Мы ездили на пляж, и случилось однажды забавное происшествие, тогда показавшееся весьма неприятным: пока мы купались, у Оси украли его единственные брюки. Я побежала домой за Юриными, а он в плавках и тюбетейке остался ждать меня в лодке. По дороге, в дубовой роще, мне встретила Таня Филановская с двумя ребятами, они шли на пляж и застали там Осю в лодке, читающим какую-то книжку. Мы с Таней потом вместе вспоминали этот эпизод.

Примерно через год после начала нашего романа мой папа как-то приехал в Москву. Наш роман шел полным ходом, случалось, что я ночевала у Марии Аркадьевны. Однажды папа задержался в Гнездиновском и ему предложили там остаться на ночь, но он, догадавшись, как часто я там бываю, наотрез отказался и пошел к своим друзьям Мееровским на Кропоткинскую, хотя было уже очень поздно. Не хотел способствовать нашему сближению, ускорять события, хотел, напротив, затормозить их. Но это не удалось.

ОСИНА СЕМЬЯ

Семья, из которой вышел Ося, была больше связана с революцией, чем моя, и сильнее пострадала от ее разрушительного воздействия. Мать, Мария Аркадьевна (Малка Ароновна Паперная, 1890–1977), родилась в белорусском селении Берёзовка (Берёзко?) в семье главного бухгалтера катушечной фабрики. Позже семья переехала в Кременчуг. Мария была в семье старшей. У нее было две сестры, Ревекка и Лия (Лиза), и брат Замвиль. Ревекка работала секретарем в Совнаркоме, близко видела известных в то время деятелей партии и правительства, в том числе Сталина, о котором рассказывала потом, что он был очень неприятен в общении и неприветлив с людьми. Нам пересказывала это Мария Аркадьевна, каждый раз боясь, что ее услышит кто-нибудь посторонний. Подобная информация давалась нам обычно рядом с ван-

ной, в маленьком коридорчике, где стояла газовая плитка. Прежде чем начать рассказывать, Мария Аркадьевна включала газ и воду, чтобы их шум заглушал ее голос. Мы смеялись, не придавая этим сведениям никакого значения. Прошло много лет, прежде чем я поняла, что она была права и что в поведении человека важно и показательно все, особенно отношение к людям. От моей сокурсницы Ани Мороз мы с мужем знали, что дочь Сталина Светлана Аллилуева вышла замуж за ее двоюродного брата Гришу Мороза и что Сталин не желал видеть ни его, еврея, ни его родителей. Но и это нас тогда не насторожило. Мы отделяли частного человека от политического деятеля, а последнему мы тогда верили, хотя кое-что и вызывало в нас сомнения.

Что до Ревекки, то она закончила жизнь старой девой в психиатрической лечебнице. Это было уже после войны.

Лизу же, совсем молоденькую девушку (она была младше Марии на десять лет) в дни гражданской войны изнасиловали в вагоне поезда, и психическая травма, связанная с этим происшествием, оставила свой след на всю ее последующую жизнь. Лиза была удивительно доброй, самоотверженной, но тоже психически неуравновешенной. Она вышла замуж за Азария Моисеевича Рубинчика, талантливого инженера, и, похоже, была счастлива в браке. Но когда дети, сын Виктор и дочь Софья, подросли, Азарий ушел из семьи и женился на простой русской женщине, с которой, по словам Вити, жил хорошо и спокойно. Лиза же переключила все силы своей души на приемного сына своей дочери Алика. Соня и ее муж Леня Франт взяли ребенка из детдома, так как Соня после операции по поводу внематочной беременности не могла иметь детей. Но ребенок оказался то ли с плохой наследственностью, то ли не чувствовал себя в новой семье вполне своим, но он сделался пьяницей и бездельником, проводившим свои дни главным образом в больницах, где его лечили от алкоголизма. Не знаю, был ли он замешан еще и в преступлениях, попадал ли под арест, но его, как правило, не бывало дома, и его однокомнатная квартира, выделенная ему приемным отцом в результате обмена своей трехкомнатной на двухкомнатную и однокомнатную, постоянно пустовала. Лизу это новое несчастье сделало нервно больной, и она тоже окончила свои дни в больнице.

Несчастливой была и судьба Марии. Девушкой, увлеченная романтическими идеями времени, она захотела стать пролетаркой и уехала из семьи в Варшаву обучаться шляпному ремеслу. Она неплохо освоила это ремесло и, обладая художественной фантазией, зарабатывала этим, хотя и очень немного. В 1917 или 1918 году она вышла замуж за Давида Янкеля Яновского, который, по слухам, был младше ее на 13 лет. Они скрывали это обстоятельство и оба неверно указывали

свой возраст. Давид был рабочим, заразившимся революционными устремлениями, он рано стал партийным функционером, был как-то связан с Троцким, не раз сидел и умер в тюрьме в конце сороковых или в самом начале пятидесятых годов, когда был очередной, послевоенный «призыв» в застенки. Мы с Осей жили тогда в Запорожье. Мы послали Яну Эммануиловичу посылку с грушами, которая через месяц вернулась обратно за ненахождением адресата. Груш в посылочном ящике уже не было, – одна гниль и мошки, тучей вившиеся над ней. Мы ничего не могли понять, пока Ася Кунина, Осина двоюродная сестра со стороны отца, не рассказала нам о случившемся. Ася была из Киева, но во время войны переселилась с мамой в Москву. Она была дочерью сестры Давида Кати, очень красивой женщины, судьба которой тоже оказалась достаточно трудной.

Счастье Мани с Давидом было недолгим. В 1920 году, в Кисловодске, где они тогда отдыхали (жили они в Ростове), Маня застала его на свидании с другой женщиной, Софьей Абрамовной (не знаю ее фамилии), что была еще старше Мани и, по-видимому, гораздо активнее. Маня немедленно вернулась в Ростов и порвала с Давидом, хотя была беременна Осей. Я вспомнила об этом ее решительном поступке, когда прочитала в воспоминаниях Елены Боннэр, вдовы А.Д.Сахарова, что ответила ее бабушка на вопрос внучки о том, как должна реагировать жена на неверность мужа. Ответ был таков: «Есть два решения: одно – не знать, второе – уйти. Оба трудные, но ничего промежуточного быть не может». Маня выбрала второе. Ей довелось убедиться, каким нелегким оно оказалось.

28 декабря 1920 года Маня родила сына. Мальчика назвали Ари. Он был ее вторым ребенком. Первым была дочка, Сонечка, умершая в двухлетнем возрасте, по словам Марии Аркадьевны, от голода. Старшая сестричка еще успела познакомиться с младшим братом и дать ему домашнее имя Ося. Она подходила к колыбельке, показывала на младенца пальчиком и говорила «отата». Возможно, это означало «вот он». Девочка еще только училась говорить. Имя Ося с ее легкой руки закрепилось за мальчиком в кругу родных и друзей. После рождения сына Давид перевел Маню в Москву и раздобыл для нее квартиру на шестом этаже в доме Нерензее, облюбованном партийным и советским начальством. Дом был замечательный, самый высокий в то время в Москве, расположенный в самом ее центре, построенный по гостиничному типу. Квартиры в большинстве своем были однокомнатные, с альковом, большой площади – метров 35, в каждой были туалет с ванной и газовая плитка (в коридоре). Эта квартира была отличная, солнечная, с телефоном, что по тем временам было не таким уж частым.

Впрочем, в доме Нерензее все квартиры были с телефонами. В доме жили высокопоставленные лица: Крыленко, Богуславский, Вышинский, в нем на крыше размещался ресторан, а внизу – театр. Там смеялись друг друга, не помню, в каком порядке, «Летучая мышь», цыганский театр «Ромэн», театр киноактера. В доме жили и бывали многие писатели, литературная и окололитературная публика. Дом был знаменит, о нем писали «Огонек», «Вопросы литературы». Редакция журнала «Вопросы литературы» уже много лет располагается в нем на десятом этаже.

Мария Аркадьевна не удержалась на шестом. Году в тридцатом она снова вышла замуж, на этот раз за Ефима Яковлевича Перловского, тенора из театра им. Станиславского. Чтобы отселить Ревекку, жившую в то время с ней, Маня поменяла свою квартиру на худшую на четвертом этаже. Эта квартира была полутемной, так как единственное окно было расположено сбоку и выходило в узкий двор, подобный каменному колодцу. Солнце попадало в квартиру очень ненадолго, только ранним утром, в виде узкого косога луча. Телефона не было, Мария Аркадьевна его сняла, может быть, чтобы не платить лишнего. Сама она говорила, что сняла телефон, чтобы уберечь Осю от чрезмерного внимания девочек. Возможно, это и так. Впридачу к этой квартире Мане удалось также получить маленькую комнатку для Ревекки в доме на Пушкинской площади напротив «Известий». Я помню эту комнату, мы с Осей в ней однажды ночевали; она была рядом с кухней в многокомнатной квартире и предназначалась раньше для прислуги. Ревекка в ней почти не жила, все время проводя у сестры, а в годы войны комнату у нее отобрали, так как, будучи в эвакуации, она за нее не платила. Тем временем Перловский уехал на Дальний Восток, в другой театр. Он звал Марию Аркадьевну с собой, но она отказалась уехать из-за детей. Кроме Оси, у нее была теперь дочка Лиля (Генриэтта) 1930 года рождения, прелестная большеглазая девочка, очень милая, умная, добрая, музыкальная. Все ее очень любили. Ей суждено было прожить всего 27 лет. Мария Аркадьевна эвакуировалась с ней в Башкирию, они попали в нищую деревню, в очень тяжелые условия. Лиля там заболела ангиной с осложнением на сердце, получила порок митрального клапана. Она умерла в 1957 году, в эпидемию гриппа, скосившую многих. Лиля успела закончить Библиотечный институт в Москве, намечалась ее свадьба, но жених, узнав о ее нездоровье, испугался и отступился. Возможно, эта травма сыграла свою роль в ее ранней кончине.

Помню, как-то Лева Спивак, наш пермский друг, в ответ на какие-то сетования Марии Аркадьевны на Осю (кажется, она жалова-

лась, что мало видит его), пошутил: «Надо было вам дочек рожать». Он не знал о пережитой ею двойной трагедии, а ей было очень больно от этой его реплики.

Рано потеряла Мария Аркадьевна и любимого брата. Замвиль был журналистом, занимал должность заместителя главного редактора знаменитого «Гудка», известного по воспоминаниям многих писателей (См., напр., воспоминания Е.Петрова об И.Ильфе. Собр. соч., т. 5, и др.). Он был женат на Любе Богуславской, библиотечном работнике, одно время, кажется, занимавшей должность ректора Библиотечного института. Замвиль умер в 1929 году от заражения крови (порезался при бритье). Остался сын Леня, ровесник Оси. Мальчики любили друг друга, крепко дружили, благо, жили они в одном доме. Леню, в отличие от Оси, в Военную академию приняли. Он погиб в первый же год войны, оставив молодую жену. Ребенком они не успели обзавестись. В память о нем мы с Осей назвали Ленею своего второго сына.

С Ленею Паперным у меня связано одно суеверие. Среди оставшихся его фотографий есть одна, на которой он изображен вроде бы мертвым. Это была игра. На снимке Леня лежит на полу с закрытыми глазами, со свечкой в сложенных на груди руках. После его гибели я стала бояться игры в смерть как ее предсказания. Это мое суеверие укрепилось, когда погиб мой сын Женя. Очень артистичный, он, как и отец, тоже любил разные розыгрыши и однажды сфотографировался как бы падающим с крыши; он стоял на крыше низенького гаража или сарая и держался руками за край крыши одноэтажного дома, к которому прилепилось это сооружение. Годы спустя он погиб, упав с высоты девятого этажа. Он шабашил, оформляя девятиэтажный дом, а люлька оборвалась. Недаром евреи не допускают разговоров о смерти по отношению к живым, боясь, что слово станет реальностью. Мой горький опыт подтверждает эту опасность.

Ося рос без отца, но у Марии Аркадьевны хватило сердечной доброты, чтобы мальчик вырос без всяких комплексов, без обид и претензий к кому бы то ни было (в отличие от моих внуков, скажу я, забегая вперед). Это была очень живая, полная юмора и сердечности женщина, очень кокетливая к тому же, любившая покрасоваться, артистичная. Ося в этом отношении пошел в нее. Она боялась современной жизни и старалась держаться в стороне от ее официальных форм, но в ней жил неиссякаемый оптимизм; она этим гордилась, подчеркивала его, выставляла напоказ, хотя для оптимизма, казалось, было не так уж много оснований.

Мария Аркадьевна жила очень бедно, ей было очень трудно вытягивать детей. Ося еще школьником стал подрабатывать репетитор-

ством. Сам он учился блестяще, обладая незаурядными способностями, прекрасной памятью, острым умом. Никогда он ничего не требовал у матери, понимая ее положение. В среде товарищей он самоутверждался при помощи знаний, отзывчивости, веселых, а нередко и едких шуток. Мария Аркадьевна знала множество еврейских анекдотов, историй, присловий. У нее на каждый случай жизни находилась притча, ей всегда было что рассказать. И люди шли к ней в трудную минуту, зная, что она может поднять настроение, а то и поможет делом. Денег у нее не было, но она могла накормить «чем Бог послал», могла дать приют на ночь в своей однокомнатной квартире, рядом с собой, а главное, могла помочь словом.

Когда мы с Осей поженились, ему, как и мне, было 19 лет, через год началась война, и Ося ушел в армию. Демобилизовавшись, он поехал со мной в Запорожье и больше с матерью не жил вплоть до того времени, когда она уже не могла оставаться одна, и он забрал ее к нам в Пермь. Но она никогда не жаловалась ему или тем более на него, никогда ничего от него не требовала и в своих письмах всегда писала одно, избегая подробностей: «Живу хорошо и надеюсь на лучшее». Бывшие мужья ей не помогали, но она и к ним не имела претензий, понимая, что и их жизнь была нелегкой.

При всех достоинствах Марии Аркадьевны семья Оси производила на меня странное впечатление. Жизнь этой семьи поражала меня своей, как мне казалось, безалаберностью. Уклад ее был совсем другой, чем в доме моих родителей. Мне было непонятно, почему Мария Аркадьевна нигде не работает и перебивается заработками, которые давали ей, шляпнице, случайные и немногочисленные заказы ее знакомых или знакомых знакомых. Мне было также непонятно, почему нет режима питания и регулярных уборок, почему не заклеивается на зиму огромное окно, почему разбрасываются по квартире вещи, а в шкафу царит беспорядок. Было похоже, что, перейдя в ранг работницы, она отряхнула с себя прах бытового уклада, характерного для еврейских семей среднего достатка. Когда она после смерти Лили приехала к нам в Ижевск, то очень способствовала, без злого умысла, конечно, утрате в нашей семье некоторых традиционных черт организации быта, казавшихся мне важными. Тут она оказалась сильнее меня. Я очень старалась, например, сохранить традицию семейных трапез, она же относилась к этому иронически. Я попыталась устроить праздничный, хоть и без гостей (ведь в семье был траур), обед под Новый год. С трудом усадила ее за стол. Но она привыкла есть иначе, в любое время дня, пристроившись на уголке матраса, заменившего диван в ее московской квартире, и держа тарелку с едой в руках. За столом она

чувствовала себя неуютно. Мария Аркадьевна никак не могла осознать, что нас пятеро. То есть она это знала, конечно, но не могла к этому приспособиться. Она, например, жарила 3–4 сырника «для Оси», потом, вдруг осознав неловкость ситуации, говорила мне смущенно: «Ты тоже можешь съесть». «А дети?» – спрашивала я. Дети бегали во дворе, и она забывала о них. У меня была тогда молоденькая домработница. Я нашла ее с большим трудом. Эта профессия быстро уходила в прошлое. Понадеявшись на Марию Аркадьевну и на эту девушку, я рискнула съездить ненадолго в Москву по своим служебным делам. Вернувшись, я уже домработницу не застала, Мария Аркадьевна ее выжила: она боялась, что та соблазнит двенадцатилетнего Женечку. Мне это было смешно. Стало ясно то, что было известно и раньше: нам с ней вместе нелегко. Я упрямо не давала сбить себя со своего бытового и рабочего режима, хотя кое-что ей в этом смысле удалось, а она скучала у нас без своих родных стен и подруг по коридору. Через два месяца она вернулась в Москву.

Меня всегда утомляла разговорчивость Марии Аркадьевны, которая, видимо, из-за своего одиночества, не умела молчать ни минуты и без конца рассказывала мне что-нибудь из своей жизни, по многу раз повторяя одно и то же. Помню, когда я еще жила у нее, она этим очень мешала мне заниматься, я даже однажды попросила ее не мешать, так как готовилась к госэкзаменам. Тогда она продолжила свой рассказ шепотом, прямо мне в ухо. Утомляли и ее постоянные предостережения, когда я или Ося собирались на улицу: будь осторожен (осторожна) при переходе через улицу, следи за кошельком, и т.д. Мы смеялись, раздражались, а она волновалась за нас. Сама она бывала на улице нечасто, избегая шума и суеты большого города, а когда все-таки шла в магазин, то одевалась по-старушечьи, брала в руки палку и подходила к прилавку без очереди, чтобы успеть схватить, что дают. Впрочем, это было уже после войны, когда она и вправду заметно постарела. При своем артистизме она умела извлечь из старости какую-то выгоду. Меня это совсем не забавляло, а казалось недостатком чувства собственного достоинства. Мне казалось, что ей вообще присущ этот недостаток, и это подтачивало мое уважение к ней. Родилось такое мое к ней отношение чуть ли не в самом начале нашего знакомства, когда она заложила в ломбард мои вещи, оставленные у нее на лето; мы с Осей тогда еще не были женаты. Я выкупила их сама, вернувшись после каникул в Москву, ничего ей по этому поводу не сказала, но случай этот запомнила.

Маня и Лиза очень любили друг друга, но когда Лиза приезжала к Мане, они начинали шумно и темпераментно ссориться, часа не могли

провести вместе мирно, ссорились из-за разных бытовых пустяков, из-за нечаянного слова, из-за ничего, но жить друг без друга не умели. Лиза часто приезжала помочь Мане с уборкой, с мытьем, с готовкой, когда та состарилась и ей было трудно обслуживать себя. Сестры очень жалели друг друга, но не умели беречь нервы – ни свои, ни друг друга. Однако и в этих ситуациях чувство юмора изменяло Марии Аркадьевне крайне редко и ненадолго. Вот, например, что я нашла в ее бумагах:

«Москва, «Гнезники»

Докладная записка.

Довожу до сведения Настоятельницы Ново-Мытищенской Обители Л.А. (Елизаветы Аркадьевны – *Н.Л.*), благонравной, щедрой, скорбящей по ушедшим и ныне «гуляющим» – от вдовствующей сестры, ныне содержательницы «Убежища» Богоугодного Заведения во «Гнезниках», палата 413.

Сим извещаю о благополучном исходе и выбывке из одного заведения отроковицы 83-х л. по болезни засорения «литер-пупра» в другое заведение.

Что касательно остальных отроков и т.д. и т.п., то они еще находятся во вверенном мне учреждении.

Дорогая Матушка, благодетельница! Мы все счастливы, когда Ваше Преосвящество посещает нас с земными Дарами. Одними молитвами и Богом питаемся, но наши бранные тела еще, не во грех сказать, требуют не только небесные знаки, но также, например: курицу, варенье, колбасу. Да простит Господь нас!!».

Она любила играть, шутить, актерствовать. Ося, конечно, унаследовал это от нее. Женечка в одной из своих уже послеармейских эпистол писал, обращаясь к ней: «Я так постыдно давно тебя не видел, что помню только твою несомненную и непреходящую жинерадность, которую ты упорно и неуклонно стараешься скрыть ворчанием и даже жалобами. Хотелось бы очень суметь летом приехать, посмотреть на тебя, показать Танечку».

Не могу не вспомнить еще одну особенность Марии Аркадьевны: она не умела и не любила говорить о деньгах, гордилась и хвастала этим своим неумением. Я к деньгам относилась проще: мне казалось, что много о них говорить ни к чему, но и умалчивать бессмысленно: ведь без них не обойтись. Но Мария Аркадьевна явно стыдилась говорить о деньгах, видно, чувствуя в этом измену своим юношеским романтическим увлечениям. Все-таки было в ней немало от «человека воздуха», типичного для еврейского местечкового быта, хотя она и

жила в столице. Я однажды сказала ей об этом, когда она вдруг начала говорить что-то пренебрежительное о матери и няне дочерей Вертинского, жившего на улице Горького в доме напротив Большого Гнездиковского переулка. Ужасно она тогда на меня обиделась. Наверное, в моем отношении к ней сказывался снобизм молодости вкупе с оттенком социального снобизма. Она часто говаривала мне, что придет время, когда я ее еще вспомню. И она оказалась права. Я часто теперь вспоминаю о ней, раскаиваясь, что в свое время плохо ее понимала и проявляла к ней порой жестокость, нередко присущую молодым в подобных ситуациях.

После войны мы с Осей могли бы остаться в Москве и жить в Большом Гнездиновском, пока не получили бы какое-нибудь другое жилье. Лиза нередко упрекала нас в том, что мы этого не сделали. Но я не хотела жить с Марией Аркадьевной: я боялась, что, живя с ней, буду постоянно раздражаться и не смогу работать, а я мечтала работать в институте. Мне надо было бы в этом случае много работать дома, готовиться к лекциям, заниматься научными исследованиями. Вряд ли это было бы возможно под ее рассказы, тем более что в квартире хватало людей и без нас: была Лиля, которой предстояло выйти замуж, была Ревекка. И мы уехали из Москвы, не подозревая, что Лиля проживет недолго, а Ревекка и того меньше, не зная, что уезжаем навсегда, что власти сделают Москву фактически закрытым городом и почти полностью запретят в ней прописку.

Мы с Осей, особенно он, ездили в Москву регулярно. Он – в служебные командировки, откуда каждый раз привозил заготовленные мамой для нас продукты, я – в командировки научные, писать сначала первую свою диссертацию, потом вторую. В последний мой приезд, когда Мария Аркадьевна еще жила в Москве, мне дали комнату в общежитии МГУ, и я поселилась там, чем очень ее огорчила и обидела, хотя она жила не одна, что было главной причиной такого моего решения. У нее были квартиранты – это обеспечивало немаловажную часть ее скудных доходов. Так повелось с того времени, когда мы с Осей освободили альков. Там жили подолгу или останавливались на короткое время многие наши родственники, друзья и их дети, другие посетители столицы. Все они были ей благодарны. После кончины Марии Аркадьевны к нам пришло много писем от разных людей, очень тепло о ней вспоминавших.

Об отце Ося знал, но не виделся с ним. Не знаю, когда он увидел его в первый раз, но бывать в его доме он начал только тогда, когда в его жизни появилась я. Не помню уже, что послужило тому побудительной причиной, но мы стали время от времени наносить визиты его

отцу, познакомились с Софьей Абрамовной, его второй женой, и с Игорем, его сыном от второго брака. Родные Марии Аркадьевны этого не одобряли, считая Давида авантюристом и называя его Остапом Бендером. Лиза не скрывала своего недовольства тем, что я встречалась с ним в годы войны, но Мария Аркадьевна никогда не сказала о нем плохого слова, никогда не обвиняла его, а считала несчастной жертвой революционной романтики и «хищницы» Софьи Абрамовны. Она его не обвиняла, а жалела. Это было для нее очень характерно. Не имела она к нему и никаких денежных претензий. Помню, отец как-то показал Осе квитанции в доказательство того, что он помогал его матери. Ося презрительно скривил рот: «Ты хранил квитанции?» Его возмутил этот формальный довод в таком интимном деле, которое должно было решаться, как он считал, только «по душе». Разница в уровне жизни этих двух семей, матери и отца, говорила сама за себя, хотя отец тоже не роскошествовал. Мария Аркадьевна продолжала называть его в разговорах Давидом, несмотря на то, что он давно уже носил другое имя – Ян Эммануилович Демьянов, и сын его был Ари Яновичем, а не Ари Давидовичем, и тоже Демьяновым. Все наши дети и внуки – Демьяновы. Это осталось нам от революции, это наше семейное революционное наследство. Леня, уже после смерти отца, как-то сказал мне, что хотел бы вернуть себе родовую фамилию – Яновский, но я не посоветовала ему делать это, потому что мне казалось, что это как-то отдалит его от Оси. Вскоре он и сам передумал, так как у него уже были большие дети, двое из которых успели получить паспорта на фамилию деда.

Я относилась к Яну Эммануиловичу совсем неплохо, он мне нравился. Это был красивый, мягкий – и внешне и внутренне – человек, вполне интеллигентный. Ося был очень на него похож, только Осины черты лица были острее, а краски ярче. У Оси были огромные и жгучие, темно-карие глаза, унаследованные от матери, глаза, в которых светился ум, блистал юмор и таилась еврейская мировая скорбь. Волосы тоже темные, черные, но без синевы, круто вьющиеся, очень густые. Отец был светловолос и, кажется, светлоглаз (впрочем, это я помню не точно). В отличие от отца, Ося напоминал «лицо кавказской национальности», с ним на Кавказе, где ему не раз приходилось лечиться, заговаривали на всех языках этого края. Отец не вызывал таких ассоциаций.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ. ЗАМУЖЕСТВО

Я стала бывать в Большом Гнезниковском еще на первом курсе, у Фиры, на втором мои визиты участились, а в начале третьего мы с Осей поженились, и я поселилась в кв. 413.

Познакомились мы в конце августа или в начале сентября 1939 года, когда, пробыв дома из-за болезни целое полугодие, я вновь приехала в Москву, чтобы продолжать учебу. На вокзале меня встретили Фира и Ося Демьянов. С этой встречи и начался наш роман. У Фиры же я впервые увидела Марию Аркадьевну, кокетливо прихорашивающуюся перед большим зеркалом. Она показалась мне слишком старой для таких действий. Но это я была слишком молода. Ей было тогда немногим больше пятидесяти, – цветущий возраст, на мой нынешний взгляд. Мария Аркадьевна отнеслась к нашему роману без сопротивления, я ей понравилась. Вероятно, ее устраивали и моя провинциальность, и моя скромность, и моя серьезность – я и в школе, и потом в институте была из отличников. Как бы то ни было, Мария Аркадьевна поощряла наши отношения, видимо полагая, что они оберегают Осю от дурных влияний. Я стала часто бывать у них, иной раз оставалась ночевать, и тогда Ося спал на полу. Мои же родители, зная о наших планах, считали, что торопиться не надо. Моя кузина Женя рассказала, что папа говорил об Осе: «Мальчишка! На что он рассчитывает?». Но мы «рассчитывали» на себя, на нашу любовь, и она нас не подвела. Мы прожили вместе почти 45 лет, и даже смерть Оси не разлучила нас. Недавно ведущий телепрограммы «Час пик» задал двум разным интервьюируемым, известным актерам Александру Ширвиндту и Евгению Стеблову, вопрос об одном и том же: как удалось им больше двадцати лет прожить в браке с одной женой. Ширвиндт ответил шутливо: по трусости. Стеблов – серьезно: меняя жен, все время как бы повторяешь программу первого класса, а не меняя, поднимаешься с одной ступени отношений на другую. Я могу подтвердить правоту Стеблова, думаю, что и Ося согласился бы с ним. Что же до моего папы, то он, когда мы поженились, смирился с реальностью, принял Осю как сына и стал высылать мне на жизнь в Москве вдвое больше денег, чем до замужества.

Днем нашей свадьбы мы с Осей считали 1 мая 1940 года. Этот день мы отпраздновали вдвоем в общежитии, так как мои соседки по комнате (это были Люся Залманзон и Таня Лазарева) уехали или ушли куда-то в гости – я уже не помню. Наша регистрация и официальная свадьба состоялись позднее. Мы зарегистрировались 19 сентября, без всякой помпы, на ходу. Помню, меня еще мучил гвоздь в туфле и рас-

смешил вопрос регистраторши, в первый ли раз мы вступаем в брак. Свадьба с гостями была позднее в Запорожье, у моих родителей. Было много друзей дома, то есть друзей моих родителей, и мало моих, так как время было не каникулярное и мои бывшие соученики, ставшие студентами разных вузов, находились кто где. Из моих подруг были Таня Филановская и Женя Находкина. В Москве же 19 сентября мы ограничились посещением кафе «Мороженое» на ул. Горького (ныне Тверская) вместе с Фирой. Вполне скромно. Дату же 1 мая мы держали пока втайне, и летом я поехала домой как ни в чем не бывало.

Из Запорожья мы, то есть мама, папа, Юра и я, отправились отдыхать в Яремче (Западная Украина). Год назад ее присоединили к СССР, и было интересно посмотреть эти места. Папа был человек инициативный и любознательный, к тому же отнюдь не из трусливых, его интересовало многое. Мы ехали через Киев, Казатин, Ковель, Львов, Яремче – курортное место в Карпатах, очень красивое. Мы там отдыхали в санатории. Папа где-то достал путевки. Сохранилась пачка писем Оси ко мне и моих к Осе, относящихся к 1940 году, к этой первой нашей разлуке. Письма эти очень юные (нам по 19 лет), нежные, порой сентиментальные, полные взаимной тоски, признаний и клятв. Уже в них видна разница между нами: я более склонна к рефлексии, к самокопанию, он – в куда меньшей степени. Эта разница еще сильнее обозначится в письмах военных лет. Тот год был предвоенным. Мы с Осей обсуждаем в письмах возможности нашей дальнейшей жизни, пытаемся строить планы соединения, но под ними нет квартирной основы. Ося остался в Москве и должен был зарабатывать уроками, репетиторством. Он жалуется, что уроков нет. Я пыталась что-нибудь купить ему на Львовском рынке; после того, как у него украли брюки, он был совсем раздет. Но, видно, это не очень-то получалось. Цитирую свое письмо: «...цены с каждым днем растут. То, что сегодня стоит 1000, завтра – 1500. Придется тебе, видимо, довольствоваться тем синим, так как меньше, чем за 1000 на мужской костюм ничего нет» (письмо от 30.07.40, цены довоенные).

Еще я писала о Львове, очень зеленом и красивом городе западноевропейского типа, о его обитателях, с которыми довелось познакомиться, о беженцах из Варшавы. Евреи бежали от Гитлера, но, как видно даже из моих писем, попали в такие условия, что стали проситься обратно; однако их отправляли на север. «Меня познакомили с одним инженером-текстильщиком. У нас он копает рвы. Он говорит, что среди беженцев масса безработных. У Муриного отца (Мура Жуковская, моя запорожская приятельница – *Н.Л.*) курьером работает адвокат, и вообще на подобных работах много людей с высшим образова-

нием... Может быть, я вижу не тех, кого нужно, но я не видела еще довольных... Я не могу всего написать, но рассказывают множество всяких вещей. Военные в поезде говорили, что работать здесь очень трудно, население настроено неважно. Ясно одно – большой веры в нас у них нет, они настроены очень скептически и выжидают, что покажет время. Интересно, что они не желают слушать наших лауреатов. Здесь прогорели Флиер, Гилельс, красноармейский ансамбль, наши цыганщики». Из письма от 29.07.40: «...Я увидела и другие настроения, кроме тех, о которых я тебе писала. Просто им трудно переключиться на новые цены и осмыслить отсутствие товаров. Я слышала рассказы об избииении евреев в Варшаве при их бегстве сюда, о жутких еврейских погромах, о голоде в Варшаве. Тот инженер, о котором я тебе, кажется, писала, бежал к нам, выпрыгнув из поезда, так как тех, кто ехал к нам легально, они грабили и избивали». Есть в моем письме рассказ об одной девушке, еврейке из Варшавы: она во время бомбардировки выбежала из дома босиком, в ночном белье и пешком добралась до Пинска. Вот она была счастлива, особенно оттого, что смогла во Львове поступить учиться. В Варшаве она четыре года подряд не могла поступить в мединститут и поступила только на пятый за взятку в 6 000 злотых. Впечатления мои были, таким образом, сложные. Я уже начинала в них вдумываться, но вдумывалась еще, видимо, не очень. А Ося так и вовсе отверг сомнения в том, что у нас все правильно, и не выразил беженцам никакого сочувствия, обозвал их мещанами за любовь к джазу и даже высказал предположение, что среди них много шпионов. Сказалось наше воспитание. Но ведь он их не видел, а я видела своими глазами. Однако и я не очень-то была занята этими впечатлениями. В письмах гораздо больше о наших бытовых проблемах и перспективах. Ося сообщает о книгах, которые прочитал (о «Ярмарке тщеславия» Теккерея, понравилось не очень), о фильмах, которые видел (о «Законе жизни», понравилось очень), о поисках ботишков для меня, о перспективах выкупа из ломбарда моего осеннего пальто, которое заложила его мама, когда я уехала на каникулы. Я пишу о природе, о поклонниках, о курортных впечатлениях, отчасти заслонивших львовские. Война надвигалась и на нас, но я этого толком еще не понимала. Мой папа хотел оттянуть наш с Осей союз, о чем-то таком говорил со мной в Яремче, я сообщила об этом Осе, его это обидело и рассердило. Такая вот переписка. Еще Ося писал мне о нервной обстановке у него дома, о болезни его тети Ревекки...

Следующее лето было уже военным, мы расстались очень надолго, и переписка наша включила другие мотивы, хотя и оставались взаимная тоска, взаимные клятвы и (особенно у меня) рефлексия по пово-

ду наших отношений. А тогда, в 1940 году, когда я в сентябре вернулась после Яремче в Москву, мы расписались и поселились вдвоем в том самом алькове, который примыкал к их единственной комнате. Он был отгорожен от комнаты пестрой занавеской. В алькове стояли кровать, письменный стол и большой сундук. Чтобы скрасить наш семейный быт, я купила металлический остов абажура для настольной лампы и обтянула его красной в белых цветах тканью, оставшейся от моего летнего ситцевого платья. Еще я приобрела чугунную сковородку со сковородником – они сохранились в моем хозяйстве вплоть до моего отъезда в Америку – и вазочку из красного стекла, на котором были вырезаны фигуры в длинных одеяниях. Это был какой-то античный сюжет, кажется, женщина с арфой. Эту вазочку я очень любила, берегла до последнего, даже когда откололся ее красивый, раструбом, верх, – букет свежих цветов, всегда стоявший в этой вазе, делал ее увечье незаметным. Таково было наше первое семейное обзаведение. Позже нам довелось жить и в землянке, и в разных квартирах, не все из которых можно было признать хорошими. Но первым нашим пристанищем был альков.

В нем не было окна, и это угнетало меня, выросшую в большой солнечной квартире, хотя я не подавала вида. Но однажды мне приснилось, что меня посадили в тюрьму на тринадцатый этаж под землей. Это было в апреле 1941 года. Наутро я, сама не зная почему, быстро собралась и поехала домой, в Запорожье, вместо того, чтобы идти на занятия. Сработал какой-то внутренний толчок. Папа и мама встретили меня на вокзале, очень встревоженные. Они терялись в догадках, предположили, что я приехала делать аборт. Но ничего подобного не было. Просто я очень соскучилась и поддалась душевному порыву, будто почувствовала, что мы не увидимся еще очень долго. В июне началась война, и мы не виделись, пока я не добралась после долгих мытарств до Буйнакка.

ВОЙНА

До сих пор я писала просто по памяти, одно воспоминание цеплялось за другое. Но вот передо мной письма военных лет. Осины ко мне и мои к Осе. Есть также письма от моих папы и мамы, от Юры, от Марии Аркадьевны, одно-два от Фиры, несколько от Жоры Голубова, с которым я познакомилась в годы войны. Но больше всего моих к Осе и его ко мне. Мы оба хранили эти письма все последующие годы, я привезла их с собой в Америку.

История одной любви. Роман в письмах. Эпистолярный роман разлученных войной. Трогательно. Горько. Смешно. Удивительно. Удивляет с высоты сегодняшнего дня, как мало мы тогда понимали! Мы были не самые глупые, не самые трусливые. И все же, какие мы были правверные! Сколько романтической наивности, романтической веры в систему, уже давно к тому времени обнаружившую свою ПОРОЧНОСТЬ. Мы могли бы это видеть, ведь среди наших близких тоже были жертвы системы. Папин двоюродный брат погиб в заключении. Осин отец сидел не раз. И все-таки мы не видели, а то, что видели, казалось частностью. Мы еще не хотели и, наверное, не умели обобщать. Даже моя мама, далекая от политики, как-то сказала: «Ведь мы первые идем этим путем, могут быть ошибки». Мы жили безбоязненно, бесстрашно, абсолютно верили в то, что все дороги нам открыты, мечтали поехать куда-нибудь далеко, чуть ли не на какую-нибудь романтическую стройку. Были уверены, что живем в самой лучшей стране на земле. Верили, что договор с гитлеровской Германией был только хитростью, обеспечившей нам возможность лучше подготовиться к будущей войне. Верили, что наша армия всех сильнее. Упомянутый договор все-таки порождал в наших душах неприятный осадок; ведь наше отношение к фашизму было непримиримым, и нас коробил этот компромисс с Гитлером. Мы тогда не догадывались, что Гитлер и Сталин друг друга стоят. Мы утешали себя тем, что мы не политики и нам не дано понять высшие соображения властей. И, конечно, мы никак не думали, что война начнется так скоро. Вопреки договору! Какое коварство врага! Только через много лет довелось нам узнать, как мы были глупы и наивны. А Ося умер, утратив многие иллюзии, но так и не узнав всей правды о том времени.

Наши письма! В них многое видно. Письма совсем юных людей, только еще вступивших во взрослую жизнь. В чем-то эти письма стандартны, хоть сейчас в доперестроечную советскую газету или на страницы журнала «Юность», в ту рубрику, которую вел Саша Шиндель, сын Люси Залманзон (он тоже окончил филфак МГУ), собирая и печатая патриотические письма юных фронтовиков военных лет. Ося, как и они, писал о сволочах-немцах и о том, как он верит в победу, а я о том, как мобилизует меня доклад Сталина. Но гораздо больше мы писали друг другу о нашей любви и тоске, рефлексировали по поводу наших отношений (в основном – я, Ося по-прежнему не был к этому склонен), обменивались информацией и размышлениями по бытовым вопросам. В них, в этих письмах, видно, где и как мы жили, о чем думали, что ели, чем обогревались, видно, как стремительно ухудшались условия жизни по мере того, как «немец» все глубже заходил на наши

земли, и как у нас прыгало настроение, то поднимаясь, то проваливаясь во тьму. Эти письма – документы, исторические и психологические. В них в какой-то мере отражено время и видны люди той поры, конечно, определенного возраста и круга. Но, наверное, стоит написать об этом по порядку.

Утром 22 июня 1941 года, еще не успев никуда уйти (кажется, было воскресенье), мы услышали по радио сообщение Молотова о нападении фашистской Германии на СССР. Мы содрогнулись, обнялись, но, конечно, совершенно не представляли, какой страшной и тяжелой окажется эта война. Завершалась летняя экзаменационная сессия. Мы торопились все сдать поскорее, не оставляя «хвостов». Помню, на ступенях перед дверью в здание института в Сокольниках мне встретилась Лия Канторович. Очень собранная, уверенная в себе и почему-то веселая. Она вообще была не из нытиков. Как-то легко она сказала, что поступила на курсы медсестер. Она и до того была легендарной факультета, а теперь сделала шаг к бессмертию. Лия настояла на том, чтобы ее взяли досрочно на фронт и погибла чуть ли не в первом же бою, еще в августе 1941 года. О ней много писали. Я уже упоминала книжку о ней, изданную в Ижевске. Тоненькая, малого формата, как брошюра или книжечка из серии, выходившей в качестве приложения к журналу «Огонек». На обложке, на темном фоне – юное, чуть наклоненное набок, очень красивое, будто светящееся лицо, обрамленное пышными волосами (они были у нее золотисто-каштановыми), с ясным взглядом больших удлинённых глаз, с четко вычерченными бровями. Лия Канторович! На обложке написано «Люся». Эвфемизм? Или в ижевской школе она и вправду называла себя так?

Через два или три дня после начала войны объявили воздушную тревогу. Я очень занервничала, заторопилась в бомбоубежище, оно было в подвале нашего дома, все мы поспешно спустились туда. Но тревога оказалась учебной. Я пережила потом множество налетов на Москву, редкий день обходился без них, но я больше не боялась и не уходила из квартиры. Был налет на Москву и в тот ноябрьский день, когда я должна была уехать в эвакуацию с семьей осинового отца. Я спешила на вокзал, но вдруг раздался тревожный и уже привычный звук сирены, сопровождаемый голосом Левитана, много раз повторявшим: «Граждане, воздушная тревога», и всех прохожих и пассажиров наземного транспорта стали загонять в ближайшие станции метро. Я попала в метро у Театральной площади, волновалась, что опоздаю на поезд, но я успела.

За четыре месяца до того, 3 августа 1941 года, в 6 часов утра, в тот самый день и час, когда Сталин выступил по всесоюзному радио со

своим обращением к «братьям и сестрам», мы втроем, Фира, Ося и я, шли с вещами к метро, направляясь на сборный пункт в какую-то школу в Сокольниках, чтобы поехать оттуда на строительство противотанковых рубежей под Москвой. То есть ехать должны были только Фира и я, Ося же подал заявление о добровольном вступлении в армию и ждал результата. Он проводил нас только до метро, ему нужно было в свой институт (Автодорожный, на Садовом кольце). Мы простились на три с лишним года, чего тогда, конечно, не предполагали. Помню, на сборном пункте мы встретили Нину Воркунову, студентку искусствоведческого отделения, с которой дружили, жену Сергея Наровчатова. Тем, кто не знал его в юности, а видел только поздние его фотографии или изображения на телеэкране, трудно себе представить, как он был красив. На северный нормандский лад, прямо северный бог какой-то. Сергей тоже был там, но не собирался ехать с нами, он только провожал Нину. Кажется, к тому времени он стал уже студентом Литературного института им. Горького. Зато среди нас был Дзюк Кауфман, будущий большой поэт Давид Самойлов. Он тоже был хорош, но совсем в другом роде. В нем оставалась еще какая-то полудетская миловидность, он мне тогда казался чуточку увальнем, чем-то напоминающим доброго медвежонка.

К вечеру мы оказались в теплушках и наутро прибыли в Смоленскую область, где и занялись рытьем противотанковых рвов. Мы копали их чуть ли не полтора месяца. Не думаю, что эти рвы сыграли сколько-нибудь существенную роль в обороне Москвы. Немецкие летчики, летавшие на Москву, сбрасывали по пути листовки: «Девочки и дамочки, вы не роите ямочки», – что-то в этом роде, а дальше о том, что их танки легко одолеют эти рвы.

Мы жили в деревне Издешково, в крестьянских избах, жили довольно весело и трудились на совесть. Почему-то запомнилось, что однажды из-за укуса пчелы у меня так распухло лицо, что я не смогла выйти на работу. Нина Воркунова сочинила шуточный сценарий о наших трудах под названием «Лопаты». В чем состояло действие, я уже не помню, может быть, и действия-то никакого не было, а в последнем кадре оставались одни только воткнутые в землю лопаты, только они смогли все это выдержать. Выразительный был кадр. Сценарий был очень смешной, но на самом деле все было вовсе не так уж забавно. Над нами летали немецкие самолеты, иногда спускавшиеся специально, чтобы обстрелять нас. Были ранены, правда, не из нашего института. Под Смоленском на этих работах было много студенческой молодежи – свезли, видно, из всех вузов Москвы.

Там я от Оси получила письмо. Привожу его почти целиком:

«Я не знаю, когда ты получишь это письмо, но уверен, что получишь. Я сегодня ездил в ИФЛИ, а оттуда в МК ВЛКСМ, и мне там сказали, что через несколько дней наладится связь с вами. Я получил от тебя пока 3 весточки, из которых (из последней, вернее) заключил, что ты недалеко. Очень рад, что у тебя хорошее настроение. Хорошо, что Фирка – твой командир. Я прошел медкомиссию и признан годным к службе в авто-частях Красной Армии. Сегодня в 18.00, то есть через два часа, я буду в военкомате, где нам дадут направление, кажется, в военное училище... Наша встреча откладывается до конца войны, с которой, я уверен, я вернусь победителем. Я уверен, что я буду здоров, если ты, моя любимая девочка, будешь все время думать обо мне. Мои мысли всегда только о тебе... Мне не хочется, чтобы ты расстраивалась, ты должна быть счастлива, что твой любимый и любящий муж идет выполнять свой долг перед страной... Напиши домой все. От мамы каждый день приходят открытки. У них все в порядке, а возможно, что мама с Лилей уедут, если это будет обязательно. Ключи тогда останутся в домоуправлении. В любых обстоятельствах не теряй голову, будь мужественна. Я очень жалею, что ты не взяла с собой больше денег. Но я надеюсь на тебя, только будь умницей. Если у тебя будет плохое настроение, вспомни о моей любви к тебе, и все пройдет... До скорого свидания! Мой привет и поцелуй Фирочке. У нее дома все в порядке. От Алика (Александра Стояновского, мужа Фиры – *Н.Л.*) пока ничего нет. Борька (Борис Дубовик, друг Оси, входивший в нашу компанию – *Н.Л.*) на днях тоже уезжает. Женька Астерман (наш с Фирой сокурсник, погибший позднее на фронте – *Н.Л.*) пока в Москве... В военкомате сказали, что идем мы в ВАММ им. Сталина, где Ленька. Ухожу 9-го в 9 утра (он уехал только 23-го июля – *Н.Л.*). Не знаю, будем ли мы в Москве. Вероятнее всего, в лагерях...»

Я вернулась в Москву 8 августа, еще до окончания этих работ. Впрочем, и остальных вскоре оттуда убрали. Близилась серьезная дела. Я вернулась в пустую квартиру. Ося был в армии и, как я узнала, находился в Гороховецких лагерях танкового училища в Горьковской области, в деревне Ильино. Там и началась его язвенная болезнь, мучившая его всю жизнь. Временами, как он рассказывал, они там голодали, многие от голода болели куриной слепотой. От этого его, к счастью, Бог уберег. Мария Аркадьевна с Лилей были эвакуированы из Москвы в Башкирию, жили там в тяжелейших условиях, в нищем селе, мерзли, голодали. Там Лиля и получила в результате ангины порок сердца, от которого умерла в 27 лет. Это случилось в 1957 году, день в день за месяц до рождения нашего младшего сына Алика. Но до этого

было еще далеко. Еще нужно было пережить долгую и страшную войну, двенадцать послевоенных лет.

Моих родителей в августе 1941 года тоже уже не было в Запорожье, и слава Богу. Гитлер вскоре оккупировал Украину. Папа был мобилизован как врач и вместе с госпиталем уехал на Северный Кавказ. Мама и Юра отправились с ним. Они на какое-то время осели в Пятигорске, а госпиталь продолжал путешествовать. Дина, мамина сестра, медсестра по профессии, тоже была мобилизована. Через два года, как я уже писала, она погибла во время боев на Изюм-Барвенковском направлении (Харьковская область).

Оказавшись одна, я обратилась к Осиному отцу, и он отнесся ко мне вполне по-отцовски. У него были письма для меня от Оси и от моих родителей. Осиню письмо-инструкция датировано 23 июля. Это был день его отъезда. Он пишет, что с 17 июля особенно волнуется за меня. Сейчас я уже не помню, что именно случилось 17 июля. Ося велит мне поддерживать связь с его отцом и ехать с ним, если нужно будет уезжать. Другой вариант – направиться в Куйбышев к его тете Лизе. Ося сообщает мне ее адрес, пишет, что в Куйбышеве находится также мать Фиры с маленьким Микой. В письме есть адрес Марии Аркадьевны и Лили: Башкирская АССР, Улу-Теляк, колхоз им. Папанина. В домоуправлении Ося оставил мне ключи от квартиры, а у Марии Семеновны, матери Алика Стояновского, мужа Фиры – 300 рублей (после денежной реформы это стало равно тридцати). В письме он также велит мне сходить в военкомат и взять справку, что я – жена военнослужащего. Я ходила туда и пыталась получить железнодорожный литер, чтобы уехать, но мне его не дали. Давали только женам офицеров, а Ося был всего лишь курсантом.

Тогда же, в августе 1941-го, я получила две открытки от папы, он писал по дороге в Буйнакск и потом из Буйнакска. Первая открытка – со станции Ростов: «Теперь пробираюсь обратно в Запорожье. Мама и Юра остались жить в Пятигорске». Зачем в Запорожье? Не помню. Знаю только, что папа туда уже не добрался, немцы его опередили. Из той же открытки: «Только что я тут нашел свой госпиталь, который тоже передвигается и развернется, вероятно, недалеко, на Северном Кавказе». Госпиталь какое-то время находился в Кисловодске, а потом развернулся в Буйнакске, вторая открытка уже оттуда: «Я раньше хотел было забрать маму с Юрой сюда, но тут ужасно гнусное место, и жизнь значительно дороже, чем в Пятигорске». Вскоре, папа все же осуществил это намерение. Обе его открытки были посланы по адресу: Москва, Куйбышева 13, МК ВЛКСМ. Управление строительства. Про-

кофьеву. Сокольнический район, мне. Так адресовали письма тем, кто был на строительстве противотанковых рубежей.

Первое письмо Оси из Ильино было от 29 июля. В нем – впечатления о курсантах («от ребяташек, окончивших 7 классов, до студентов 3-го курса»), о командирах («мой командир взвода очень живой и веселый парень, но, кажется, когда начнутся занятия, даст нам жизни»). Ося подружился со многими. Писал особо о двух грузинах, окончивших Тбилисский инфизкульт: «Мировые парни, мы с Тарновским с ними подружились, вместе занимаемся». Ося был очень контактным. В училище он учился отлично по всем предметам, кроме физкультуры – в этом он никогда не блистал.

Письма Оси оставались в общем бодрыми до конца, хотя информация в дальнейшем бывала уже менее веселой. Пришлось хлебнуть всего – и холода и голода. В одном из первых писем Ося приводит рацион: каждый день сахар, масло, мясо, 800 грамм хлеба. Но так было только вначале. Позже они голодали всерьез. Трудно было, лишений хватало, и работы тоже. Осю почти сразу же по приезде избрали секретарем ротного президиума комитета КСМ. Он был доволен: «...работки хватит, но оно и интересней. Единственное, чего мне недостает, – это ты». Но потом его сняли с этого поста из-за какого-то нарушения воинской дисциплины, в котором он винил свои чемоданные настроения. Они были связаны то ли с его бесконечными рапортами с просьбой послать его на фронт, то ли с попыткой извлечь Марка и Осю из училища и вернуть их в институт, о чем хлопотал отец Марка. Но ничего не вышло ни из того, ни из другого.

В последующих письмах появляются иногда дальние планы (вновь у Оси возникла мысль об учебе в Военной академии – ВАММ им. Сталина), есть просьба связаться с Люсей, женой Марка Тарновского, Осиного сокурсника и по институту и по училищу, мечты о моем приезде в Ильино. «Люся Т. сказала мне, что ты чуть-чуть не приехала ко мне. Я чуть не расплакался. Как было бы здорово это!» Из Осиного письма видно, что Тарновские эвакуировались и поселились где-то неподалеку от училища («Марк видится с Люсей по выходным, а иногда и в будни по несколько минут»). Он пишет, что мог бы помочь мне устроиться на работу, но жить мне было бы практически нигде. Эта тема еще долго будет присутствовать в наших письмах. Я так и не решилась поехать к нему в училище. Уже нельзя было ездить свободно, все стало очень сложно, и я, наверное, просто боялась пуститься в путь. В конце ноября, так и не повидавшись с Осей, я уехала в эвакуацию вместе с его отцом. Впервые мы с Осей увиделись после этой разлуки летом 1944 года, когда я ненадолго приезжала к нему в

Курган, где он служил в учебном танковом полку, то есть больше чем через три года после нашего прощания в метро.

Мы писали друг другу почти ежедневно, в крайнем случае, через день. Отступления от этого правила вызывали беспокойство и у меня, и у него. Так, в письме от 25 сентября Ося жалуется, что уже пятый день от меня ничего нет, и тут же сообщает, что получил от меня уже 30 писем. Мы оба нумеровали свои письма по его предложению. Я посылала ему также посылки – и пищевые и бельевые. Он просил носки, трикотажное белье.

Ося пишет, что они собираются зимовать в Ильино, строят землянки, утепляют дома, пересказывает мне письмо, полученное от моего папы: тот не одобряет, что я перестала ходить в институт. А я действительно перестала и пошла работать на вновь организованную фабрику полевого снаряжения, директором которой был Осин отец, на должность кассира. Конечно, я могла просто продолжать учиться в своем институте на четвертом курсе и эвакуироваться с институтом в Ашхабад (институт туда вскоре отправился). Это было бы, наверное, самое разумное. Но настроение было не учебное, хотелось срочно что-то делать. К тому же надо было хоть что-нибудь зарабатывать на жизнь, поскольку мои родители не могли уже мне помогать. Я схватилась за предложение Яна Эммануиловича и в ноябре эвакуировалась из Москвы вместе с ним и его фабрикой. В сентябре 1943 года, когда немцы отступали и уже виден был конец войны, я вернулась в Москву и продолжила учебу на своем факультете, к тому времени ставшем факультетом МГУ. А пока, поздней осенью 1941 года, я надолго уехала из Москвы, на подступах к которой шли бои.

Мы остановились в поселке Джусалы Кзыл-Ордынской области Казахской ССР, а оборудование фабрики пошло совсем в другую сторону, кто-то направил его в Свердловск. Думаю, тут не было злого умысла, а была обычная неразбериха. Мы долго ждали его, но так и не дождались, и нас всех уволили, дав тем возможность отправляться на все четыре стороны. Я и отправилась в г. Буйнакск Дагестанской АССР, где в то время находился госпиталь, в котором работал папа. Мама и Юра тоже были уже там. Так я рассталась с семьей старшего Демьянова, но наша дружба продолжалась и поддерживалась перепиской. Когда в 1943 году я вернулась в Москву продолжать учебу, я снова стала бывать в той семье. Они жили в Замоскворечье, в Вишняковском переулке. Мне там подчас помогали.

В Буйнакск я добиралась сложным и длинным маршрутом: ехала поездом, плыла через Каспийское море от Красноводска до Баку, где меня встретил Юра, потом мы с ним ехали электричкой. Юра учился в

последнем классе школы, ухаживал за какой-то девочкой, за что местные кавалеры однажды выбили ему передний зуб. Мама работала в госпитальной регистратуре.

Немцы двигались к Кавказу, и в Буйнакске ждали раненых два эвакуогоспиталя: 1047 и 4653. Папа работал в первом, меня же взяли во второй на должность культурника, оформив как медсестру, поскольку должности культурника в штатном расписании не числилось. В мои обязанности входила организация всяких культурных мероприятий для раненых. На мне были радио, газеты, письма (я читала раненым письма и писала под их диктовку ответы, если их состояние или недостаток грамотности не позволяли им делать это самим), «наглядная агитация», самодеятельность, концерты гастролеров, библиотека. Но когда шел прием раненых из полевого госпиталя или отправка их в тыл, все работали круглыми сутками, участвуя в их регистрации и санобработке, независимо от должности и не считаясь со временем. Во фронтовом госпитале или санитарном пункте раненым оказывали только первую помощь, к нам они поступали во всем грязном, невымытые, небритые, со вшами. Санобработка начиналась со сбривания всех волос, где бы они ни росли, чтобы прежде всего избавить раненых от паразитов, а потом уже были баня, чистое белье, чистая постель в палате. Легкораненые лечились у нас и возвращались на фронт. Для тяжело раненых наш госпиталь был перевалочным пунктом по дороге из фронтового госпиталя в тыловую.

ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ДАГЕСТАН. ОПЯТЬ МОСКВА. КУРГАН

Я начала эти записки в 1992 году, когда всерьез стала готовиться к отъезду в Америку. Там я надеялась их продолжить, но написала только один кусок об Осиной родне, готовясь к его семьдесят второму дню рождения, к восьмому дню его рождения без него. Потом записки эти я отложила надолго – учила английский, осваивалась в новой обстановке, прощупывала возможности писать для здешней периодики, что-то для нее писала, словом, вживалась в новый мир. Прошло немало времени, прежде чем я почувствовала себя в состоянии вернуться к своим воспоминаниям, продолжить разговор о годах войны.

* * *

В 1941 году еще были иллюзии, были надежды на скорый ее конец. Строились иллюзорные планы (я мечтала приехать к Осе в часть), совершались неожиданные поступки (я бросила институт и стала работать на фабрике полевого снаряжения), происходили неожиданные мелкие события, не говоря уже о масштабных (муж Фиры, Алик Стояновский, в один прекрасный день увез из Москвы Фиру, ее мать и брата, а я не знала даже, куда они делись, так как была в это время на работе), люди теряли и разыскивали друг друга. Письма того времени полны информации и вопросов такого рода: папа из Кисловодска сообщает мне адрес мамы с Юрой в Пятигорске, мама пишет, что папа с госпиталем должен, видимо, переехать в Буйнакск, Аня Мороз просит сообщить адрес Бори Дубовика, если я его знаю, в Челябинск, где живет ее тетя и куда они собрались эвакуироваться, и т.д. и т.п. Немецкие войска продвигались вглубь страны, и шло безостановочное движение и на фронте, и в тылу, в жизни не осталось ничего стабильного, кроме надежды на победу, боязни друг за друга и стремления не потерять друг друга из вида.

В конце 1941 года нам почему-то стало казаться, что война уже близится к завершению. Что порождало эти иллюзии? Может быть, наше горячее желание, чтобы все это кончилось поскорее, может быть, наша усталость, может быть, уверенный тон Сталина в его речи к седьмому ноября и сам факт проведения парада в Москве, когда немцы были от нее так близко. Наверное, все это вместе плюс наша неосведомленность о реальном положении вещей. В наших письмах, во всяком случае, немало говорится о нашей якобы скорой послевоенной жизни, о наших планах: мы будем учиться, Ося, может быть, останется в армии и пойдет в академию, а может быть, уйдет на гражданку (он еще не решил), мы будем очень заботиться друг о друге, у нас появятся бэби, с длинным носиком, с черными волосиками, очень-очень умненький.

В 1942 году стало ясно, что война надолго.

Наш первый бэби появился только через четыре года, с черными волосиками, очень-очень умненький, только носик был небольшой, кругленький, очень хорошенький. Все наши дети, очень красивые (не только в моем восприятии), оказались не очень счастливыми – то ли мы их чему-то не научили, не сумели их от чего-то защитить, то ли время наше такое... Я думала и думаю об этом очень много, но так и не додумалась ни до чего определенного. Понимаю только, что мы не совсем справились с нашими родительскими задачами, может быть, потому, что не вполне понимали мир, в котором нам довелось жить, не видели масштабов лжи, верили в этот мир, сомневались и снова вери-

ли, вместо того, чтобы бескомпромиссно ему сопротивляться. Понимание пришло гораздо позже.

Итак, 1942 год. После внезапного обрыва мирной жизни в 1941-м, после неразберихи, хаоса, наивных надежд, горьких разочарований наступила некоторая стабилизация, если можно употребить это слово по отношению к тому трагическому времени. В нашей семье, во всяком случае, кое-что на какое-то время определилось. В 1942-м я уже добралась до Буйнакса, где были мама, папа и Юра, и стала работать в эвакогоспитале 4653. Папа работал как военврач-стоматолог в госпитале 1047. Когда оба госпиталя передислоцировали в Махачкалу, столицу Дагестана, я перешла работать в госпиталь 1047. Мама работала в одном из этих госпиталей (не помню в котором) в канцелярии, а позже устроилась в детский сад музработником. Она любила детей и работала с удовольствием. Юры в Махачкале уже не было с нами, его мобилизовали после десятого класса, когда мы были еще в Буйнаксе. В армии он служил в артиллерийских войсках, воевал и в Германии, и в Монголии (с японцами), был обморожен, был ранен, но выжил и демобилизовался в сентябре 1945 года.

Госпитали, о которых идет речь, развернулись, собственно, не в городе Махачкала, а в его пригороде, расположенном на берегу моря, в рабочем поселке вокруг большого завода, прежде консервного, а теперь работавшего на оборону. Этот поселок типа соцгорода, как и завод, назывался Двигательстрой. Он был наполовину пуст – люди были эвакуированы куда-то на восток. Целые кварталы многоэтажных домов-коробок были немymi, безжизненными. Они производили совершенно фантастическое впечатление. Я вспомнила об этом поселке, когда прочитала у Воннегута о целом городе, где водородной бомбой было уничтожено все живое, а все неживое осталось невредимым. Мы ходили по этим мертвым кварталам, собирая для госпиталя брошенную утварь, книги. Одну из найденных нами книг я оставила у себя. Это был французско-русский словарь, он и сейчас у меня.

Ося в 1942-м был вначале еще в училище, в Череповецких лагерях. Учился отлично, получал благодарности от командования, занимался самодеятельностью и английским. Мечтал о скорейшем выпуске, чтобы делать дело, помогать своей матери и мне. Ненадолго попал однажды в Горький и обрадовался встрече с большим городом, от которого совсем было отвык. В письмах того времени Ося пишет об училищном быте, занятиях, успехах, радостях. Радости очень скромные: письма пришли; удалось побывать в гостях у родных Марка Тарновского, поселившихся неподалеку; угостили хорошей сигаретой, покурил вволю. Много о курении, оно и свело его в конце концов до вре-

мени в могилу. Но это случилось через 43 года, в 1985-м. А пока – мечты о выпуске и реальном деле, описание дня в училище. Вот оно: «... я сейчас исполняю, к счастью, временно, должность командира отделения, встал на 10 м. раньше – без десяти пять. В пять поднял отделение. Сбегали на озеро, физзарядка, умывание, После утреннего осмотра – завтрак: 300 гр. белого хлеба, 25 гр. масла, суп, 50 гр. сахара, чай. Дальше – занятия. Первые четыре часа делали кто что хотел, так как по новой программе начнем заниматься с 1-го. Я из них два часа спал, а два читал учебник английского языка. Следующие два часа – строевая подготовка. Это малоинтересная вещь, раньше нравилось, теперь надоело. Последние два часа физо. Совершили пятикилометровую пробежку». Ответы на мои ревнивые предположения о его возможных увлечениях: «Ты только не обижайся, но без смеха я не могу читать этой части твоего письма... Ну как можно писать, думать такую чушь?»

Это 1942 год, второй год войны. Возраст каждого из нас – 21 год. Мы очень молоды, очень любим друг друга, без конца пишем про нашу любовь, без конца обмениваемся клятвами. Это, конечно, однообразно, со стороны – скучно. Но только не нам. Мы пишем и пишем друг другу. Письма помогли нам выдержать разлуку, длившуюся больше трех лет.

Ося ждет выпуска, хочет сесть на танк, рвется в бой. Я волнуюсь, думая об этой перспективе, достаю ему табак, собираю и отправляю посылку – табак, белье, носки.

По письмам 1942 года можно составить неполную хронику того, что происходило тогда в нашей жизни (письма сохранились не все).

Январь. Я прошу, чтобы он меня вызвал к себе в часть, когда попадет в нее («пусть меня возьмут переводчиком или кем угодно»). У нас живут Залманзоны – их госпиталь тоже попал сюда, но они пока не имеют квартиры, и мы все теснимся в одной комнате. Я очень им рада, но тревожусь за их здоровье: оба похудели, постарели. Сообщаю о знакомстве с неким раненым, знающим языки. Он, возможно, будет работать в госпитале, и тогда я смогу брать у него уроки немецкого и английского. С трудом вспоминаю сейчас, кто такой. Кажется, моряк-подводник, рассказывал о тяжелом состоянии жены (туберкулез), она умерла, пока он лечился у нас, а он не смог даже поехать на ее похороны.

В письмах Оси (он еще в Ильино) – о дежурствах, дезинфекции вещей, о том, что не высыпается совершенно, обещает со временем вызвать меня, тревожится о моих родителях, о Юре, о своем отце («а папа мой, по-моему, лучше, чем я о нем думал раньше»), о письме от

Игоря из какого-то училища (его брат по отцу учился в авиационном училище в Кзыл-Орде), о тоске по табачку. В письме от 14 января сообщает о том, что готовить из них будут не лейтенантов, а техников 1-го ранга, и что это отодвигает срок выпуска, видимо, на полгода. Потом все-таки оказалось, что лейтенантов, командиров танка.

Февраль. Ося сообщает мне (узнал откуда-то), что ИФЛИ объединился с МГУ и возобновляет занятия в Москве 2 февраля. О том же он телеграфировал в Москву отцу, надеясь, что тот как-то поможет мне вернуться на учебу. А тем временем число обучающихся в училище расширялось («К нам в роту добавили еще взвод. Жить стало теснее, зато там оказалось несколько очень симпатичных культурных людей»). Среди курсантов появился режиссер Зазаев, работавший раньше в Ярославском театре. Он взялся руководить самодеятельностью, и Ося решил принять в ней участие. Ося называет также художника Гапошкина – хорошо знает литературу, был лично знаком с Маяковским. Из его письма вижу, что писала ему о встрече с киевскими артистами, а мое письмо, содержащее эту информацию, видимо, пропало. Позже, в Буйнакске или, может быть, уже в Махачкале, появился театр им. Ермоловой. Я познакомилась с актером Вициным, ставшим позднее очень известным, говорила с ним о разных разностях, принесла ему немного гипса, взятого у папы – Вичин увлекался лепкой и в то время лепил бюст актрисы того же театра Вероники Полонской, последней возлюбленной Маяковского. Вичину, как я поняла, она очень нравилась, хотя и была намного старше его. Я пригласила актеров театра выступить в госпитале перед ранеными, и они выступали и в госпитальном клубе, и в палатах.

Мы оба (и Ося, и я) тянемся к людям, близким по духу и уровню, к гуманитарной интеллигенции.

Мартовские письма не сохранились. Зато в апрельском Ося одобряет мой переезд в Буйнакск, хотя это вовсе не в сторону Москвы: «Наконец-то ты среди людей, которым дорога, которые не будут портить тебе жизнь, которые будут заботиться о тебе. У меня упал камень с души». В майском он острит («А на пароходе был, оказывается, даже ресторан. Ты напиши мне, девочка, что означает это слово, оно, наверное, иностранное»), рассказывает об их самодеятельной программе, где есть теплоход «Победный рейс», плывущий по «Московскому» морю. «На предмайском смотре художественной самодеятельности наш батальон занял первое место; я получил благодарность в приказе от начальника училища. За апрель месяц средний балл по учебе у меня 5». Много в письме размышлений о моей возможной работе. Ося считает, что лучше всего для меня было бы работать в госпитале вместе с

папой. И опять просит выслать табак («говорят, что снова разрешен прием посылок в училища»). И опять о задержке срока выпуска. И опять о том, как хочет он поскорее настоящего дела, хочет драться за спокойствие своей жены, матери, дома, любимого города. И о любви к Москве («я скучаю по ней, как по человеку скучают»), и еще о лезвиях для бритвы – просит по возможности прислать их. И опять, и опять о своей любви.

Из майских писем видно, что я уже работаю и настроение у меня поднялось. Ося рад за меня, тревожится, что перегружаюсь, сетует, что работаю не в том же госпитале, что папа (а вдруг переезд?), сообщает, что получил от своей тети Лизы 50 рублей, что Лиза выслала 75 за квартиру. И опять о любви, об уверенности в скорой нашей встрече. Получил перевод от папы и побаловал себя: съел 2 яйца впервые после годового перерыва – по 16 рублей за штуку. Огорчен слухами о новом продлении срока обучения еще на 5 месяцев.

Моя майская открытка – только о моей тоске. И еще очень хорошо видно, как работала почта. Сроки получения писем самые фантастические и часто самым странным образом связаны со сроками их отправки. Я уже политрук, как видно из Осиного письма, – была тогда такая пропагандистская должность, довольно скромная. Он же продолжает учиться. Горд успехами по огневой подготовке, помимо учебы работает вместе с другими курсантами на подсобном хозяйстве, сжигает в лесу валежник. Рад моей увлеченности работой, моему стремлению в партию. Ждет поездки на практику в Горький. И снова просит табачку. В письме подробная инструкция, как можно отправлять его понемногу прямо в письме, завернув в бумажку.

Письмо от 1 июня, уже из Горького: «10 месяцев там, где сосны и ели до чертей надоели, а тут асфальт, трамваи, люди в гражданском платье. Вообще город. Талка, я определенно совершеннейший урбанист. Никакие сельские идиллии, разные там пастухи и даже пастушки никогда не заменят мне города. Вчера был день «свободы». Ходили по городу, задирали девушек, при помощи моего нахального вранья пообедали в закрытом комсоставском ресторане, в каждом киоске пили газированную воду (конечно, военного времени, без сиропа и газ условный – но 10 месяцев ведь вовсе не пробовали)... Практика интересная, делаем то, с чем придется иметь дело, когда кончу... Кормимся замечательно. Масло получил сразу за 15 дней вперед – это 750 грамм, целое состояние. Гражданским здесь приходится туго... Табак чудный. Я давно такого не курил, да и не видал». Это уже о моей поставке в письмах, – я воспользовалась его инструкцией, табак доставала у раненых, они со мной делились, входили в положение.

И опять лагерь («Смотреть не могу на эти шишки»). И о ненависти к немцам, и о достоинствах танков («это очень хорошие машины, заслуживающие быть изучаемыми»), и высмеивание моих опасений («Да, ты права. Мы действительно будем ужасно старыми. 22 года! Целых 22! Бр р р р! Ужас какой!»).

В июльском письме – справедливая реакция на мою бесконечную рефлексию: «Ты настолько близка мне, что жизнь без тебя я не мыслю, не представляю. Так есть ли надобность подробно разбирать оттенки нашего чувства, тем более что словами, да еще издалека, в письмах не передашь, что хочешь? Вот встретимся, тогда поговорим. Да и нужны ли будут тогда слова?» Отповеди мне такого рода встречаются во многих письмах, так же как и мое нытье. Я все время прошу меня вызвать, жалуясь на пустоту без него, а он, чувствуя себя, видимо, старше (он был старше меня на 19 дней), успокаивает меня, иногда журит, объясняет реальную ситуацию, словом, поддерживает меня, как будто мне труднее. Это его поразительное и редкое качество – уметь снимать напряжение – проявлялось уже тогда, в самых, казалось бы, неподходящих условиях. Он сохранил его до конца. А я этому у него так и не научилась. «Как ты умеешь портить настроение!» – сказал он мне однажды. Очень плохо мне без него. Все 12 лет с тех пор, как он ушел в мир иной. Мне всегда было плохо без него. Даже если мы расставались совсем ненадолго. Но тогда я могла его ждать, и это было счастье...

Еще одна цитата из письма 1942 года. В нем отразились Осины настроения того времени, вполне типичные: «Я заразился своим танком, я хочу на нем идти в бой, причинять как можно больше неприятностей извергам-немцам. Кончу в октябре. Получил письмо от Женьки Буланова (его друг по институту – *Н.Л.*). Он 5 месяцев был на фронте, в феврале был ранен и контужен (месяц пробыл в окружении), видел смерть, голод, холод. Сейчас в Челябинске с Симиной семьей (Сима – его жена. – *Н.Л.*). 13-го у него медкомиссия. Если не пошлют снова на фронт, будет учиться в институте. Он отец 5-месячного Александра. Письмо очень теплое. Спрашивает о тебе. Он хороший парень, настоящий друг. ... Вот Эренбург пишет, что сейчас нужно забыть про любовь, что в душе должна остаться только одна лишь ненависть к врагу. Не совсем я с ним согласен. Именно любовь-то и должна питать эту ненависть. Без любви у человека (именно у человека) и ненависти быть не может. Сколько думаю я о тебе! И мечтаю, фантазирую... Тебе написать – ты смеяться будешь. А сны какие снятся мне...»

В конце августа и начале сентября, как это видно из писем, шло немецкое наступление на Северно-Кавказском фронте. Я паниковала,

делала в письмах «последние распоряжения», Ося меня утешал и уговаривал, как маленькую, уверял, что все будет хорошо, убеждал, что пока не надо проситься к нему в часть, так как неясно, где будет он сам. (Ося все время просился на фронт, а попал в учебный танковый полк под Курганом, тогда это была Челябинская область.) Он оказался прав. Немцы до нас не дошли. Их остановили и отбросили.

В октябре мы на Двигательстрое. Папа демобилизован и работает как вольнонаемный. Мы кормимся в госпитале. Нас, вольнонаемных, кормят одной кукурузой: суп с кукурузными клецками, кукурузная каша, лепешки из кукурузы, кисель из кукурузной муки. Рацион раненых и тех, кто служит в армии, конечно, намного лучше. Мама меняет на рынке остатки одежды на еду. Я опять прошу Осю, чтобы он вызвал меня, или еще лучше – всех нас. «Разворачиваемся, вряд ли будем зимовать, а что дальше – неизвестно. Может быть, распустят?»

Но вот цитата из моего письма от 8 ноября 1942 года:

«Сейчас 5 утра. Я дежурю по госпиталю. Я сегодня почти счастлива. Как мало нужно человеку! Вчера комиссар объявил мне, что назначает меня приказом начальником клуба. Наконец-то мне в руки дают большое настоящее дело. Ты не знаешь, что такое начальник клуба в госпитале. Это главный организатор почти всей политработы. На наш большой госпиталь работы будет через голову. Я даже чуточку трушу, но в основном рада очень и готовлюсь к большой работе. Ставка 550. Правда, пока приказ не написан, все еще может измениться, я научена уже горьким опытом, но все же я надеюсь. Довольно держали меня на побегушках. Вчера открылся наш госпиталь. У нас у всех в душе был просто праздник. Снова больные, снова каждый работает на своем месте, делает свое дело. Я сменила рабочий костюм на полупраздничный. Очень обидно за Юрочку. Я тебе подробно писала о нем. Хочется думать, что и он сумеет найти суровую радость в своей теперешней жизни, перестанет так страдать и тосковать.

Только сегодня я прочла доклад т. Сталина. Обычно говорят: воодушевляет, бодрит и т.д. Меня доклад сделал тверже, суровее, подтянутей, без криков и прыжков, а очень по-деловому. Стало еще яснее: еще рано отдыхать, еще много борьбы впереди, нельзя ни на волос сдавать напряжение, нельзя хныкать, нельзя». (Теперь мне странно, что это писала я, что я могла писать подобным языком.)

Я пишу, что стараюсь, что уверена в нем. Делюсь впечатлениями от педагогической поэмы Макаренко, советую ее перечитать («много уроков»). И опять, и опять про мою любовь.

Из писем Оси. От Лизы пришла бандероль с табаком (по идее), но без табака (фактически), видно, скурили на почте.

У Люси Тарновской, жены Марка, родился сын. Осе завидно.

Известие о дяде Юзе (Иосифе Матвеевиче Бромберге, муже покойной папиной сестры Гиси): он служил в госпитале где-то рядом с Ильино, Ося его навестил. Их госпиталь расформировали, и Юзя собрался в Омск.

«Чувствуется запах выпуска». Ося готовится к экзаменам, сдавать надо только на отлично. Мечтает: «Пройтись бы с тобой по улице Горького, зайти в “Мороженое”». Было такое кафе на улице Горького, ныне Тверской. Может быть, и сейчас оно там есть.

В декабре 1942 года Ося оказался в учебном танковом полку, расположенном в лесу в нескольких километрах от Кургана, в месте, называвшемся Увал. Там ему предстояло служить до демобилизации летом 1946 года... 1942, 1943 – война, война... И две точки на карте страны: Увал и Двигательстрой. К сентябрю 1943 года я вернулась в Москву, потом, в 1945-м уехала к Осе, он же все это время был на Увале.

Писем за 1943 год сохранилось почему-то немного. Больше всего, конечно, от Оси. Но и от Фиры из Средней Азии, от Жоры Голубова с фронта. Главная тема моих с Осей писем – мой предполагавшийся отъезд к нему в часть. Я прошу вызов, доказываю, настаиваю, упрекаю – он рассказывает о своих хлопотах в этом направлении, о том, как это трудно, о том, что его могут перевести из этой части в любой день, о трудностях, которые меня ожидают, особенно в этом случае. Мы оба тревожимся за Юру, он в действующей армии, от него долго не было вестей. В одном из моих писем есть о том, что папа плакал, как ребенок, но потом кто-то из раненых рассказал о встрече с Юрой, которого он видел целым и невредимым, и папа немного успокоился. Позже мы узнали, что Юра ранен и находится в госпитале относительно недалеко от нас. Мама, никогда ни на что серьезное не решавшаяся без папы, без тени сомнений отправилась к нему. Преодолела все трудности езды в военное время и привезла нам от Юры живой привет.

Вызов мне Ося все-таки выслал, но я не решилась поехать к нему, вняла уговорам родителей, побоялась их оставить.

Несколько слов о Жоре (Георгии Альбертовиче) Голубове. Это был москвич, кинооператор, он попал в наш госпиталь с раненой ногой. Лет на пять старше меня. Мы подружились. Он был вдовцом, жена его умерла от родов, дочь Наташа (моя тетка) росла у родителей жены. Жора был ироничен, музыкален, интеллигентен, самокритичен. Мне он очень нравился. Ося даже ревновал меня к нему, но без серьезных оснований. Мы не позволяли нашим отношениям выходить за пределы дружеских. После войны он бывал у нас с Фирой. Я виделась

с ним в Москве не раз. Однажды он был и у нас с Осей в Перми. Жора работал в «Фитиле» (была такая сатирическая телепередача под редакцией С.Михалкова) и приезжал в Пермь, чтобы проверить реакцию на какое-то выступление этой телепрограммы. Мы встретились тогда случайно после долгого перерыва: я возвращалась из Москвы и услышала его голос, стоя в очереди у стойки, где регистрировались авиабилеты на Пермь. Мы оказались в одном самолете. Ося был удивлен, встретив нас вместе в аэропорту, и снова, кажется, взволновался на какое-то мгновение. Жора побывал у нас в гостях, познакомился с нашими детьми, с Борей Чарным, который тоже пришел к нам в тот вечер. Я хотела повидаться с ним перед отъездом в Америку, но это мне уже не удалось. Когда я, будучи в Москве, позвонила ему, мне ответил чей-то женский голос (не жены, ее голос я знала): «Его нет». Жора скоропостижно скончался в тот день. Как я корила себя, что не позвонила накануне! Но разве я могла это предвидеть? Позже я навестила его жену. Она подарила мне его фотографию, сказала, что хочет уехать в Израиль. Полагаю, она это сделала. Леня, кажется, чем-то помог ей в этом.

В 1943 году я ушла из госпиталя, внутренне уже готовясь к отъезду в Москву, на учебу. Осина информация о том, что наш институт вернулся из эвакуации, подтвердилась. После госпиталя я очень недолго работала в местном пункте Красного Креста, потом уехала в Москву. Помню эту многодневную дорогу. Ехали вкруговую, через Сталинград, мне запомнились огромные пространства, сплошь покрытые металлическим ломом, и среди них – женщина с мальчиком лет 10–12, державшие спинку от железной кровати. Видно, нашли ее здесь. Помню, как они стояли рядом среди этого безбрежного страшного поля, на котором не было ничего живого, кроме них, как смотрели на проезжающий мимо поезд. Запомнился совершенно разрушенный Сталинград, обрубленная стена с дверью на втором этаже, к которой была приставлена деревянная лестница, подвал универмага, в котором был штаб гитлеровского генерала Паулуса, командовавшего немецкими войсками. Поезд долго стоял в Сталинграде, пассажиры вышли, смогли немного походить по руинам города. Через много лет, совершая путешествие по Волге, я снова (и не однажды) посетила Сталинград. Он превратился в город-памятник о событиях времен войны. Там все отстроили, кроме мельницы – она так и осталась разрушенной в память о тех днях, возвели пышные памятники, может быть, слишком пышные, чтобы передать весь трагизм пережитого.

А в вагоне у меня украли чемодан с носильными вещами, лучшее, что у меня было, то, что я не решилась сдать в багаж, так что мне надо было как-то решать и эту проблему, когда я наконец попала в Москву.

В Москве пришлось просить домоуправление, чтобы освободили нашу квартиру – там жил в наше отсутствие какой-то военный. С этим я справилась легко. У Фиры, которая вскоре приехала тоже, это получилось не так просто.

В 1941-м она уехала без меня, когда я была на работе, оставив мне записку. Алик Стояновский, ее тогдашний муж, срочно вывез ее с мамой и братишкой Микой из Москвы. Я была очень обижена и таила эту обиду годы. Просто бросить меня! Мне казалось это предательством после того, как мы долго жили вместе и делили каждый кусок хлеба. Но такая была обстановка. Видимо, Алик не мог ждать. Он и раньше частенько приезжал с фронта, помогал нам, подбрасывал что-нибудь. Незабываем мешок картошки, привезенный им в тот самый критический момент, когда у меня в Елисеевском вытащили месячные продуктовые карточки, в том числе и карточки его мамы, Марии Семеновны (она была журналисткой, работала в женском журнале «Работница»), которые я взялась отоварить вместе со своими. Человек он был очень симпатичный. Я помню его мягкую улыбку, терпеливую доброжелательность. В нем было обаяние доброй мужественности и не было ничего показного.

Что же касается Фиры, то она была слишком темпераментна для долгой разлуки. В какой-то момент она начала думать об Алике как о человеке, простоватом для нее. Они развелись, Фира вышла замуж за писателя Анатолия Медникова, родила дочь в августе 1946 года Алина на год младше нашего Жени. Вскоре Фира развелась и с Медниковым, человеком угрюмым, мало внимательным к ней и дочери, слишком сосредоточенном на себе и своих делах.

В ее жизни были потом и другие, ее женское счастье оказалось очень переменчивым. Целых 10 лет длился ее роман с Сергеем, ее студентом. Он был младше ее на 9 лет, красавец-блондин, этакий викинг. Он оставил ее, когда ему предложили работу за границей по профсоюзной линии, поставив условием предварительную женитьбу, разумеется, не на еврейке. Он женился, отправился в Латинскую Америку (он окончил испанское отделение МГУ), но пробыл там недолго. Сергей умер молодым от рака легких. Видно, разрыв с Фирой дался ему нелегко, у нее же осталась душевная рана на все последующие годы. Были еще кратковременные увлечения, были дочь и внук, было множество друзей и преданных, обожавших ее учеников, была любимая и напряженная работа, но мужчины рядом, насколько я знаю, больше не

было. Она сама была в своей семье и за женщину, и за мужчину. Жила с непосильным напряжением, и потому, наверное, много болела и ушла раньше времени.

Когда Фира вернулась в Москву, в их квартире жил полковник, возглавлявший противоздушную оборону Москвы, и ей квартиру не вернули, тем более что отец ее был репрессирован. В тридцатые годы он был послан в Англию и Америку для каких-то технических закупок, а потом его арестовали, и он провел в тюрьме и ссылке целых 17 лет. После XX съезда его реабилитировали, он вернулся в Москву, но не к жене – не простил ей, что она не поехала к нему в ссылку, забыв, что у нее на руках был маленький ребенок. А может быть, дело было в том, что у него уже была другая женщина.

Мы с Фирой снова стали учиться, теперь уже в университете. К тому времени нашего института не стало, его факультеты влились в МГУ. Филологический поначалу располагался на Малой Бронной, нам с Фирой это было очень удобно, близко. Потом факультет перевели на Моховую, тоже недалеко. Мы повзрослели и чувствовали себя очень уверенно. На иные лекции ходили по очереди, чтобы иметь полные конспекты, но экономить время. Мы много работали в залах Ленинской библиотеки – еще тогда мы хорошо этому научились. Сдавали почти все на отлично. Кое-что в нашей подготовке поменялось. Я до войны брала второй язык французский, но он у меня не шел, а теперь перешла на английский. Фира же вообще ушла из немецкой группы в английскую. Она ведь в детстве ездила за границу с родителями, знала английский блестяще, ей нужен был соответствующий диплом. Она его получила, ее по распределению оставили на факультете (правду об отце она скрыла), и она проработала в МГУ всю свою жизнь, до самой смерти в 1989 году. Окончили мы университет в феврале 1945-го. Это был ускоренный выпуск. Еще шла война. Я на распределении попросилась в Курган, где служил Ося, и уехала к нему. В стенной газете прославили мой патриотический порыв. А я просто любила Осю, ждала ребенка (Ося приезжал в декабре в Москву) и хотела, наконец, быть с мужем. В сентябре 1945-го родился наш Женечка. В лесу под Курганом, в землянке.

Но об этом подробнее позже. Пока же я хочу вернуться в год 1944-й. За этот год сохранилось целых два пакета писем. Они насыщены информацией о событиях, встречах, о судьбах наших родных и друзей.

Январь 1944-го. Я почему-то жду приезда Оси на Новый год. Он не приехал. Я вся извелась. Не ходила на занятия, чтобы не пропустить его звонок. Постирала и перегладила его рубашки, чтобы он мог

надеть штатское. У нас с Фирой была веселая новогодняя вечеринка. Были Сема, Жора, его друг переводчик Юра Смирнов, Володя Венгеров, старый Осин друг, ставший потом известным кинорежиссером, еще кто-то. Я всех перечисляю Осе, обо всем ему рассказываю. Он ездил в Челябинск, был у Лизы. Именно в 1944 произошел у нас обмен злыми письмами. Я перебрала, видно, в своих упреках, он ответил очень раздраженно, «освобождая меня», но на завтра же стал спускаться на тормозах, а я стала извиняться. В общем, типичный нервный срыв, нервы не выдержали у нас обоих. В целом он держится лучше, чем я, и я пишу ему: «Ты неизмеримо умнее, чутче меня, а я живу на одних нервах и тереблю тебя, вместо того, чтобы беречь» (20 янв.). Нам еще долго предстояло терпеть разлуку, я съездила к Осе в августе 1944-го, а он смог приехать в Москву лишь в январе 1945-го. Разлука длилась больше трех лет.

В моей жизни три – роковое число. Около трех лет Ленечка провела у моих родителей, когда мы переехали из Запорожья в Ижевск. На три года взяли в армию Женечку, на три года мы расстались с Аликом, когда он эмигрировал в США.

В 1944-м стало видно, что война идет к концу. Может быть, лучшим тому свидетельством было шествие пленных немцев по Садовому кольцу в Москве. Не помню точной даты этого события. Прошло уже с тех пор так много времени! Помню только множество людей, стоявших вдоль всего Садового кольца на тротуаре, и нестройную колонну немцев, идущих, кто понуро, а кто с равнодушным видом по проезжей части. Их было так много, что, казалось, колонне не будет конца. И было как-то странно тихо. Стоявшие на тротуаре смотрели на идущих отчужденно, сурово, молча, не угрожая им, не проклиная. Немцы тоже шли молча, так что был слышен только топот их сапог. Я стояла в толпе у площади Маяковского и видела все это.

Другим признаком близящегося конца войны было то, что послевоенные планы в 1944-м начали приобретать практический характер. Я была очень озабочена проблемой распределения, устройством моих родителей, возвращением Осиных мамы, сестры и тети Ревекки из Башкирии (Улу Теляк), где они страшно бедствовали. Азарий предлагал перевезти их в Аше, на стройку, как-то связанную с его работой, но поехала только Ревекка, да и то ненадолго. Я написала Ефиму (отцу Лили) об их положении, но он ответил, что его мобилизуют и что средств у него нет. Почему-то он подумал, что я прошу помощи для себя. Я ему, как сама признаюсь в письме к Осе, «резко ответила». Все время прошу у Оси справки для его мамы, для себя. Свою справку я, кажется, получила и потеряла и прошу другую: она необходима для

получения лимитов (уже не помню, что это такое, может быть, скидка на квартплату?). Маме справка нужна для прописки, для получения продуктовых карточек. Мне нужна также справка, чтобы предъявить ее на распределении. Мои попытки устроиться на работу в Москве не возымели успеха. Я написала кое-какие аннотации для «Литературной газеты», маленькую рецензию на первую книжку стихов Сарика Гудзенко, изданную в Сталинграде в дни сражений, и все это напечатали, хотя и без указания моего имени.

Вспоминаю любопытную подробность: рецензия на книжку Гудзенко заканчивалась фразой о том, что поэт он многообещающий. Эта фраза была вычеркнута со словами: «Мы авансов не даем». Может быть, и вправду давать их не следовало, но время показало, что в оценке дарования молодого поэта Семена Гудзенко я была права. Мы с Фирой предприняли также попытку включиться в подготовку серии книг о рабочих людях для издательства «Молодая гвардия», съездили в издательство и домой к нашему будущему герою, но все это окончилось ничем. Не вработались, да и уменя не хватило.

Что касается моих родителей, то была идея перетащить их в Москву: хотелось, чтобы они были рядом. Папа говорил: не хочу, чтобы мы жили одни. (Их было двое, он и мама были вместе. Мне это сейчас представляется завидным счастьем.) Осин отец обещал помочь. Но ничего у него не вышло, а может быть, он и не пытался, а только обещал. Обещания он вообще давал очень легко. Обещал, например, что устроит меня в аспирантуру Академии наук. Но я уже знала, что не следует обольщаться. Обещания относительно моих родителей тоже оказались пустыми. В итоге мои мама и папа вернулись в Запорожье, вначале без всякой квартиры. Жили в какой-то коммуналке у знакомых, а потом получили 2 комнаты с кухней в глинобитном доме на углу ул. Лепика и Розы Люксембург. Дом, в котором они жили раньше, по счастливой случайности не был разрушен, хотя разрушений в городе было очень много. В нем разместились городские власти, и папа с мамой, естественно, не могли вернуть себе свою квартиру. Напротив нового их жилья, немного наискосок, поселился тогдашний секретарь обкома Леонид Ильич Брежнев. Каждое утро он шел мимо наших окон в здание обкома, расположенное неподалеку, делая вид, что идет без охраны. Телохранители следовали за ним в некотором отдалении, прячась за кустами. В квартире родителей было холодно, тесно, но папа пристроил новую кухню, старую превратил в комнату, и места стало больше. В эту квартиру вскоре приехали также вдова его брата Рафаила Гита с дочерью Женей, до войны жившие в Днепропетровске, потом Юра, а потом и мы с Осей и десятимесячным Женечкой. Мы жили там

до получения жилья на Шестом поселке, именуемом Соцгородом, где мы прожили до 1953 года, когда нам пришлось покинуть Запорожье из-за борьбы с космополитизмом. Космополиткой была объявлена я. Но это уже другая глава в истории нашей семьи.

Осины мама и сестренка Лиля вернулись из эвакуации с большими трудностями только в начале сентября 1944 года, и мы все просто бедствовали – средств к существованию было крайне мало. А незадолго до этого вернулись Гинда Семеновна с Микой и поселились временно у нас. Через какое-то время я сказала Фире, что получилось слишком тесно и что им следовало бы перебраться к родственникам.

Вскоре они так и сделали (у них было много родственников в Москве). Вернулась семья моего дяди Лени: он, его жена Полина и их дочь Ирина. Ирочка на месте эвакуации (кажется, это было в Красноярске), поступила в эвакуированный туда же из Киева институт кожевенно-обувной промышленности. Они ехали в Киев через Москву и заехали к нам. Я стала их убеждать, что Ирочке надо перевестись в такой же институт в Москве. Они поддались моим уговорам, и перевод удался, хотя и с трудом и волнениями, и Ирочка тоже на время учебы поселилась в квартире 413.

Она была очень живая, веселая, добрая, постоянно что-то пела. Все ее полюбили, а я любила ее всегда. В нашей квартире ее прозвали Сингапурочкой: она часто напевала песенку Вертинского «В бананово-лимонном Сингапуре, в бурю...». К нам тогда заезжал Володя Венгеров, Осин друг, оканчивавший ВГИК. Он получил назначение на Ленфильм и уехал в Ленинград. Но прежде, чем этот случилось, у него возник роман с Ирочкой. Она в него влюбилась по-настоящему, но их роман не получил продолжения. Володя женился на молодой актрисе, которую он снимал. Ирочка тяжело это переживала и через некоторое время вышла замуж за человека, с которым ее познакомили родители и который был много старше ее. Он был инженером, звали его Абрам (Бома) Мерзляк. Он был очень симпатичный и добрый. У них родился чудесный мальчик Юрочка. (Наш Юра назвал свою старшую дочь в честь Ирочки, а Ирочка назвала сына в честь Юры.) Мать и сын в упорении играли друг с другом. Когда Ирочка уже работала на обувном предприятии, ее вдруг арестовали по какому-то указу – у нее нашли лоскуток подкладочной ткани, взятой из обрезков в цеху. В заключении она пробыла недолго, ее вскоре освободили по амнистии как мать маленького ребенка. А в 1958 году она умерла совсем молодой, от заражения крови после подпольного аборта. Аборты тогда были запрещены. Ей было только 34 года. Говорили, что их с мужем ждали пу-

тевки в прибалтийский дом отдыха и что она хотела отдохнуть без помех, но я думаю, были другие, более серьезные причины. Мы жили в то время в Ижевске. Телеграмма о ее внезапной смерти ошеломила нас. Помню, как мы с Осей ходили по двору у нашего дома в полной прострации и пытались осмыслить это ужасное известие. Я в Москву поехать не могла: Алику еще не было года. Поехал Ося. Только год назад он ездил в Москву на похороны Лили. Нам сообщил по телефону о ее кончине сосед Марии Аркадьевны. Я с трудом извлекла тогда Осю из какого-то районного поселка, куда он накануне уехал в командировку.

Но я опять забралась далеко вперед, вернусь в 1944-й.

Мы тогда недоумевали, почему Розалия Моисеевна с Дорой и Тодиком не вернулись из Алма-Аты. Мои родители, поддерживавшие с Розалией Моисеевной постоянную связь, да и я тоже, очень беспокоились о них. Только позднее мы узнали, что Дора была арестована и попала в лагерь. Она просидела четыре года из назначенных ей пяти. Ее мать и брат вернулись на Украину только после ее освобождения, вместе с ней.

А мы с Осей в 1944 году продолжали нашу переписку. В наших письмах этого года о любви говорится не меньше, чем прежде, но и другой информации немало. Теперь в них уже не одна только лирика, но и разные сведения о людях, нам близких, об обстоятельствах жизни, о ценах и т.п. Мы с ним все еще достаточно зелены, но все же несколько повзрослели. Ося даже боится, что я перегнала его в духовной зрелости, что его опыт жизни слишком однообразен. Я же по-прежнему боюсь постареть. Мне приснилось однажды, что мне уже 35 лет, а я все еще жду его. Он тоже пишет о своей тоске и убеждает меня, что все будет хорошо. Наши письма порой похожи на заклинания. Да они такими и были. Иногда почти ноющими (мои), иногда патетическими (его): «Долгая зима разлуки сменится солнечным летом встречи. Мы будем купаться в радости» (20 февр.). Но его чувство юмора тут же проявляется в самоиронии, сбивающей патетику: «Ты не смеешься над моим пиитизмом?».

Я писала об Ирочке, о Володе, о занятиях и зачетах, о своих отношениях с Фирой, ставших довольно изменчивыми. У Фиры были всякие романы, в ее жизни возник Сема Чертков (ифлиец, журналист), отношения с Аликом (ее мужем) то разлаживались то налаживались, и в конце концов они развелись. У нас бывало много людей, в большинстве своем это были наши друзья, ехавшие с фронта или на фронт, или же возвращавшиеся из эвакуации,— старые друзья по школе, по институту, или же новые, приобретенные в годы войны. Алик тоже приво-

дил своих друзей. Со стороны могло показаться, что мы с Фирой превратили квартиру чуть ли не в проходной двор. Осе так и донесли потом соседи, но он уже знал обо всем из моих писем. Собираясь, мы нередко слегка выпивали, танцевали. Иногда я бывала рада веселому шуму, иногда досадовала: не всегда это были близкие мне люди. Как-то пришел ко мне Жора, и нам пришлось выйти в коридор, чтобы поговорить, – в квартире расположилась компания Алика. Впрочем, выходы в коридор в этом доме были обычны, квартиры в нем преобладали однокомнатные, и коридор был чем-то вроде бульвара, а подоконники – вроде скамеек. Там можно было уединиться для разговора.

Мне удивительно теперь, что я написала однажды Осе, что никогда не любила Алика. Напротив, мне помнится, что я его любила. Когда у нас родился третий сын, я вспомнила о нем, и мы назвали сына Аликом, Александром. В моей душе остались очень теплые воспоминания об Алике Стояновском. Он был военным, и я писала, что он не нашего круга, что с Фирой он груб, не заботлив. Теперь мне странно все это. Наверное, я была под влиянием тогдашних Фириных настроений. Ведь из моих же писем видно, что он заботился о нас, снабжал нас продовольствием. Мне помнится теперь, что он был деликатным человеком. Когда много позднее, в пятидесятых годах, я ехала со своим шестилетним сыном Ленечкой из Запорожья в Ижевск через Москву, в Москве нас встретил и проводил не кто иной, как Алик Стояновский, работавший в то время таксистом.

Основу нашего с Фирой бюджета составляла стипендия, 245 рублей на душу. Это было ничтожно мало. 145 я платила за квартиру. Искала приработки, перешивала старье. Даже шляпку сшила однажды кому-то за плату, воспользовавшись колодкой Марии Аркадьевны. Вещи Осиной мамы были в ломбарде, она все просила меня выкупить их. У меня таких денег не было (нужно было 2000), я внесла 300 рублей, присланные Осей, чтобы вещи не пошли в продажу.

У моих мамы с папой тоже были немалые трудности подобного рода. Папе нужно было начать работать. Он просил меня купить ему в Москве бормашину, ложки для снятия мерок, еще кое-что для зубо-врачебного кабинета. Помню, мы купили все это вместе с моим дядей Леней, оказавшимся в те дни в Москве. Это было перед моей поездкой в Запорожье после окончания университета. Я тогда ненадолго съездила к своим родителям по командировочному удостоверению, которое мне дал двоюродный брат мамы Александр Шаргородский, возглавлявший в Москве какую-то контору. Поездка была с осложнениями. При проверке документов меня задержала милиция: их смутила бормашина, они решили, что я спекулянтка. Их подозрения усилило то

обстоятельство, что я еду в город, где родилась, они предположили, что мой служебный пропуск – липа, что так и было. Спросили, что я скажу, когда приду в это учреждение (уже не помню, какое). Я ответила, что скажу «Здравствуйте!». Тогда они велели мне раскрыть мой чемодан: «Если найдем тару, отправим обратно по этапу». Я раскрыла. Сверху лежало что-то сиреневое. «Что это», – спросили они грозно. «Смотрите сами», – сказала я, уже успокоившись, потому что это были мои трико стандартного бледно-сиреневого цвета, в чем они тут же и убедились. «Ну ладно, – сказал старший среди них, – видно у нее секретное задание, пусть возвращается на свое место в вагоне». Обратно я ехала уже в мягком, там с пассажирами патруль был более обходительным, и я доехала без приключений.

В одном из писем сообщаю Осе, что достала две чайные ложечки сахара и завернула их в письмо, – письмо испортилось, пришлось писать заново. Видно, сахар был событием. Я что-то съестное послала родителям, мама мне пишет, что они наслаждаются кофе. Помню, как я однажды поразилась, зайдя в какую-то квартиру на Гнезниковском и увидев на столе нормальную еду, совсем как до войны. Это была труднообъяснимая роскошь, честным путем ее вряд ли можно было достичь.

При всем том жизнь была интересная, напряженная, яркая. Мы бывали на встречах с поэтами, многих из которых знали как своих спутников по ИФЛИ, а с иными дружили, с Сарриком Гудзенко, например. Запомнилось, как он, заболев ангиной, пришел к нам и прожил у нас несколько дней. Мы меняли на рынке хлебные пайки на клубнику и молоко и отпаивали его. Бывали в доме кино: Жора Голубов, ставший частым посетителем нашей квартиры, не раз приглашал нас туда. Кстати сказать, Жора сделал целую серию моих и Фириных микроснимков; пожалуй, это лучшие из моих фотографий. Наши друзья по институту частенько останавливались у нас по дороге с фронта или на фронт. Бывали у нас и мои друзья еще по запорожской школе, двигавшиеся по тем же маршрутам: Яша Рутберг, Валя Каждан, Мура Жуковская. Словом, скучать было некогда. А вот для тоски друг по другу у нас с Осей время находилось всегда, и до того, как мы встретились после долгой разлуки, и после встречи, когда снова пришлось расстаться. В первый раз за все эти годы мы увиделись летом 1944 года, когда я наконец ненадолго приехала к нему. Помню, что я привезла, чтобы отметить нашу встречу, не водку, а бутылку Рислинга – до войны мы с Осей любили это легкое вино, и я наивно думала, что его вкусы не изменились. Потом, в январе 1944, он побывал в Москве.

Окончив университет (выпуск был ускоренный, дипломы нам выдали в феврале 1945 года), я после визита в Запорожье к родителям уехала в Курган, в полк, где служил Ося, в землянку, которую он для нас построил. Полк находился в лесу, в восьми или девяти километрах от города. Это место называлось Увал. Там я прожила больше года. Там, прямо в землянке, родился Женечка, наш первенец. Туда заехал к нам после демобилизации Юра, возвращавшийся с японского фронта. Он был болен воспалением легких, Ося нашел его спящим прямо на полу в здании вокзала, с высокой температурой. В июле 1946 года в Курган, на Увал за нами приехал Юра, и мы – он и я с Женечкой – поехали домой, на Украину к моим родителям. Ося приехал туда же, но позднее, когда демобилизовали и его.

Курган обогатил меня новым для меня опытом жизни в роли офицерской жены в лагерных условиях. Там я вошла в новую для меня среду военных и их жен, освоилась с жизнью в землянке.

В офицерском клубе, в помещении, больше похожем на сарай, частенько бывали танцы, я ходила туда, пока могла. Бывали и футбольные состязания. Уже в самом конце беременности я пошла однажды смотреть игру, и мне угодили мячом в живот, вероятно ускорив этим события.

В лесу на Увале было много ягод, грибов, шавеля, и я овладела искусством сбора и приготовления всех этих богатств, проявляя немалую изобретательность. Одним из любимых блюд в доме моего детства были вареники с вишнями. Я стала делать вареники со шавелем, сдабривая начинку сахаром, – получалось тоже что-то кисло-сладкое. Нам нравилось.

Возле нашей землянки мы с Осей разбили огород; правда, по неопытности мы не позаботились об ограде, и всю картошку, к нашему огорчению, вырyla соседская свинья.

Однажды Ося принес с полевых учений зайца с подбитой лапкой. Он долго жил у нас, пока мы не взяли еще и котенка, очень игручего и задиристого. Он прыгал зайцу на спину и грыз его загривок. Тогда мы решили выпустить зайца, сочтя, его уже выздоровевшим и полагая, что он того и хочет. Мы вынесли его вечером в лес, окружавший нашу землянку. Он ускакал от нас не сразу: отвык, видимо, от свободы, но все-таки ускакал. А наутро мы нашли его косточки у нашего порога. Очень было его жалко, и очень мы себя корили. Наш котенок тоже прожил недолго, он чем-то заболел. Я очень горевала, но вскоре родился Женечка и появились новые заботы.

В Кургане я с интересом общалась с новыми для меня людьми, так сказать, из народа. Среди них были две пары, такие же молодые,

как мы с Осей. Они жили в соседних землянках, тоже ждали своих первенцев, появившихся у них немного раньше, чем у нас. Я жадно расспрашивала юных мам об их пребывании в роддоме. Они его не хвалили, их рассказы не побуждали меня спешить туда.

Несмотря на призывы моих родителей, настаивавших, чтобы рожать я приехала к ним, я не захотела расставаться с Осей и осталась на Увале. Когда 6 сентября, перед вечером, у меня начались схватки, я решила, что могу подождать до утра, и Ося, чтобы отвлечь меня, стал читать мне вслух юмористические рассказы то ли Марка Твена, то ли О. Генри. Вскоре я поняла, что даже юмор этих замечательных писателей не может задержать начавшегося процесса и что пора мне ехать в город, в роддом. Ося побежал за машиной. Его долго не было. А Женечка не захотел ждать, и я родила его под наблюдением двух соседок, одна из которых должна была, как я полагала, кое-что понимать в этом деле, поскольку имела корову с теленком. По их совету я постелила на кровать кусок черного дерматина, лежавшего у меня на столе, и родила своего первенца на этом антисанитарном ложе. Обе женщины, одна повыше (кажется, Надя), другая маленькая (Нина), с молчаливым испугом смотрели, как это происходило. Сын мой выскочил из меня очень быстро, но дышать не торопился. И тогда та, у которой была корова с теленком, взяла ребенка на руки, подняла его, шлепнула, и он закричал. Мы облегченно вздохнули. Мои соседки растопили плиту, нагрели воду, обмыли младенца. И тут только прибыл мой Ося с врачом и медсестрой.

Все это случилось ночью, в распутицу, на машине добраться до города было нельзя: немощные дороги так развезло, что они стали неодолимы. Ося побежал к командиру полка за разрешением на танк. Пока он хлопотал о танке, я справилась со своей задачей на месте и в город уже не поехала. Правда, через день у меня поднялась температура, пошли фурункулы, и тогда Ося привез из города врача, заплатив ему очень щедро по тем временам – пол-литровой банкой комбижира из своего офицерского пайка.

Наутро от моей одежды, поспешно сброшенной на пол, остались одни изъеденные лохмотья: в землянке, в щелях обшитых досками стен и пола, было множество сверчков, они не только устраивали громогласные концерты, как птицы в райском саду, но еще и пожирали все подряд. Поскольку они явно предпочитали шелк и шерсть, особенно если на них были молочные пятна, я потом, ложась спать, плотно заворачивала снятую одежду в хлопчатобумажную ткань.

В Кургане я прошла свою первую материнскую школу. Ребенок был очень подвижный и смешливый. Женщины из близлежавшей де-

ревни, носившие нам молоко, говорили, глядя на него: «Артуть». Пеленаний он не терпел, сразу же высвобождал свои брыкливые ножки и ручки. Но и плакал он тоже немало. Я не знала, что делать, спрашивала в письмах маму, а письма шли долго, и пока приходил по почте мамин совет погреть малышу животик, возникали уже новые проблемы.

Помню, как Осин ординарец развлекал Женечку игрой на большой пиле: ставил ее стоймя и дергал за полотно, как арфу, получался громкий звенящий звук, и малыш ненадолго успокаивался, прислушиваясь к этому звону.

Еще помню, какой мукой было для меня топить печку мокрыми дровами. Когда Ося уезжал (а это иногда случалось) и мне приходилось топить самой, я плакала злыми, отчаянными слезами над неподливой печкой, боясь заморозить Женечку.

Добывание воды зимой из колодца тоже было нелегким делом, но с ним я справлялась.

Расскажу об одном случае, запомнившемся мне из нашей курганской жизни. Это было вскоре после рождения Женечки. Я еще ходила с трудом. Ночью я спала некрепко. И вдруг посреди ночи я увидела руку, тянущуюся через окно к моей сумке, висевшей на гвозде у окна, и к продуктам на столе, что стоял у того же окна. Ося накануне получил свой офицерский паек – колбасу, что-то еще. А в сумке был мой диплом об окончании университета и другие мои документы. Я закричала в ужасе: «Ося! Сумка!». А он, еще не успев открыть глаза, гаркнул громким командирским голосом: «Стой! Стрелять буду!», – мгновенно натянул брюки и выбежал из землянки.

Вор, испугавшись Осиного окрика, бросил все, что успел схватить. Ося пытался потом найти его по следам, но ему это не удалось. В дальнейшем мы были уже осторожнее. Помню, как в один из дней я отправилась к Осе на место его дежурства и, подходя к бараку, вдруг услышала мощный многоэтажный мат. Я испугалась: это был голос моего интеллигентного мужа. Что же могло так вывести его из себя? Но тут мой страх за него сменился изумлением: Ося вышел ко мне совершенно спокойным. Случилось нечто очень заурядное: какой-то солдат или солдаты не выполнили чего-то. Ося же матерился не оттого, что не мог сдерживать своих эмоций, а из педагогических соображений, чтобы солдаты лучше его поняли. Я была крайне шокирована, и ему в очередной раз пришлось поднимать мне настроение. Все же он чувствовал себя несколько неловко, я думаю, не из-за самого факта, а оттого, что я так некстати оказалась рядом. Но я зато имела случай убедиться, что его русский язык богаче моего.

Когда я с Женечкой уезжала из Кургана, Ося и Юра на ходу вскочили в вагон и заняли нам верхнюю полку еще до того, как поезд остановился. Иначе бы нам лежачего места не видать, а ехать надо было долго. Это было летом 1946 года, с поездами и дорогами было трудно, а людей ехало очень много во всех направлениях. Женечка, между прочим, тут же пустил струю на расположившегося внизу капитана.

В Запорожье для нас началась новая мирная жизнь. Я стала преподавателем пединститута (вот когда мне пригодились ифлийские и университетские уроки!), Ося – студентом Запорожского автомеханического института, а Женечка – воспитанником двух бабушек (моей мамы и тети Гиты) и дедушки, очень в него влюбленных. Благодаря их заботам он очень рано научился говорить, и вообще был развитым ребенком. Тетя Гита все время читала ему басни Крылова, он знал их наизусть, едва начав говорить. Память у него была в отцовскую, он все запоминал мгновенно. Приносил он кое-что и со двора, где народ был пестрый. Одна из первых произнесенных им фраз была, обращенная к бабушке: «Вудивотка ты такая!» Мы разразились хохотом и глубоко осознали, как важно и далее налегать на классику. Во дворе разгуливал большой петух в сопровождении кур. Женечка очень его боялся. Мы звали в случае надобности не милиционера, а петуха, – звонили ему по телефону. Это помогало. А еще жила в нашем дворе немолодая добродушная женщина мощной комплекции. Не помню, как ее звали. Она похлопывала нашего худенького Женечку (одни ребрышки) по спинке и животу и приговаривала: «Во мужик! Грудь моряка, спина грузчика!» Женечке это не очень нравилось.

Мы тогда все стали огородниками – без огорода было не прокормиться. Еще 1946 год был, кажется, относительно сносным, а 1947 – неурожайным, голодным.

* * *

Здесь я снова должна сделать паузу в этой работе, мне нужно передохнуть хоть немного. Вспоминать все это, перечитывать письма слишком тяжело. Рита Спивак, моя пермская подруга и коллега, сказала мне: «Это самоубийство». Да, почти так. Так я чувствую это. Слишком тяжело делать все это самой. Нет дистанции, нет отстранения, без которого невозможно писать. Я сделаю паузу, подожду настроения и, может быть, позже продолжу.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ. СНОВА ЗАПОРОЖЬЕ. БОРЬБА С КОСМОПОЛИТИЗМОМ

Сегодня 13 октября 1995 года. Только сегодня я решила перечитать написанное. Я остановилась на окончании войны. Хочу сейчас, прежде чем говорить о послевоенной жизни, вспомнить о потерях, понесенных нашей семьей.

Война сократила ее. Погибла на фронте моя тетя Дина, мамина младшая сестра, о чем я уже писала. В оккупированном Днепропетровске немцы после пыток казнили Нину (Нехаму), старшую дочь папиной сестры Сони. Она была учительницей, женой своего коллегического учителя, русского или украинца. Он не захотел эвакуироваться, она осталась с ним. Вместо того чтобы спрятать ее, он велел ей пойти в назначенное немцами для сбора всех евреев города место и время. Немцы повесили Нину на глазах у ее сына Шуры, совсем еще мальчишка. Шура весь поседел. Когда он пришел к своей бабушке, та его не узнала. Шуру вырастила тетя, младшая сестра его погибшей матери Полина. Дочь другой папиной сестры, Мани, Бебочка (Берта) Эйтингон как раз перед войной окончила институт и была послана на работу во Львов. Она оказалась на оккупированной территории, достала каким-то образом паспорт на имя украинки Цыбенко и скрыла свое еврейство. Бебочка прослужила в какой-то немецкой семье почти всю войну. А незадолго до ее окончания произошла одна из тех случайностей, что похожи на чудо, но нередко бывали на войне: Бебочку неожиданно встретил в Германии Шура Чернявский, офицер советской армии, сын Кулиного мужа Лани. Маня похоронила в эвакуации мужа, она была уверена, что и дочери нет в живых, – ведь о ней почти четыре года не было никаких известий. Когда пришла от нее телеграмма, Маня от неожиданной радости потеряла сознание. Счастливый финал? Конечно, но, увы, не совсем. Пережитое не прошло для Бебочки даром. Она умерла от рака в возрасте 53 лет. Умерла в 27 лет сестра Оси Лиля, получив порок сердца в эвакуации.

Были в нашей семье жертвы и советского режима, и перестройки. Отец Оси, арестовывавшийся не раз, умер в тюрьме уже после войны. Муж Лии, дочери тети Сони, был репрессирован и расстрелян. Мой папа получил обширный инфаркт, когда меня объявили космополиткой и уволили с работы. Это было началом той цепи болезней, которые привели к его уходу из жизни. Погибли в восьмидесятом году наш Женя и брат его жены Сергей. Они работали на стройке, чтобы подзаработать, но люлька, поднявшая их на уровень девятого этажа, вдруг накренилась и выбросила их. Алочка (Слава), дочь папиной младшей

сестры Кули, осталась в годы перестройки нищей вдовой-пенсионеркой. Она жила в Харькове, на Украине, где было особенно трудно, дочери мало о ней заботились. В 1995 году она повесилась от безысходности ситуации.

Все это было, этого не забыть.

Но вернусь в первые послевоенные годы.

Итак, Запорожье. Я – дома, работаю в пединституте, Ося учится в механическом, Женечка растет. Юра учится в Москве, живет у Марии Аркадьевны, в том самом алькове, а в Запорожье приезжает на каникулы. После армии он женился на Идочке Матлиной. Она начала учиться в Запорожском Механическом институте, но Юра вскоре перевел ее в Москву, в свой институт и в тот же альков.

Мы прожили в Запорожье семь лет и пережили там немало. Там Женечка пошел в первый класс. Чистописание давалось ему с трудом, зато по чтению он получал одни пятерки. Только к концу первого класса мы обнаружили, что читает он плохо. Его абсолютная память помогала ему безошибочно повторять все, что он хотя бы раз услышал, и все, включая учительницу, думали, что он бегло читает. С этим мы справились быстро, и потом уже в чтении его было не остановить. В родителей пошел. В Запорожье родился второй наш сын – Ленечка. Женечка его очень ждал, а Ося сказал, увидев его: «Второе издание, исправленное и улучшенное». Мальчик и вправду был очень красив, наши соседки не скупилась на комплименты по этому поводу, а одна из них любила подчеркивать, что он красивее старшего брата. Моя мама обижалась за Женечку и говорила каждый раз о Лене: «Это же не его заслуга». Мы назвали нашего второго сына Леней в память об Осиню двоюродном брате, с которым Ося вместе рос и который погиб на фронте в начале войны. Ленечка родился в рубашке, но знал не только счастье. Он шел по жизни путем проб и ошибок. Если Женечка был «мальчиком наоборот» в возрасте от двух до пяти, причем в такой степени, что его, трехлетнего, даже не хотели взять с садиком на дачу, мотивируя тем, что он «разлагает коллектив» (помню, что мне тогда, чтобы преодолеть сопротивление заведующей, пришлось пойти в райком партии и воспользоваться своего рода «блатом» – один из моих студентов-заочников работал в этом учреждении), то Ленечка стал проявлять упрямую «наоборотность» лет с двенадцати и долго сохранял эту позицию. На протяжении ряда лет он частенько говорил в ответ на наши замечания или советы: «Мне не надо указывать. Я уже взрослый. Мне уже двенадцать (тринадцать, четырнадцать, и т.д. – *Н.Л.*) лет». Это продолжалось довольно долго – и после двадцати, и после тридцати, – менялся только возраст. Леня был не из тех, кто сле-

дует по проторенной родителями дорожке, а подчеркнуто искал свою, в другом, чуть ли не противоположном направлении. У него было много зигзагов, дававшихся и нам нелегко. Теперь у него хорошая семья, хорошие старшие дети, с которыми есть, разумеется, свои трудности, прелестные малыши. Энергии ему не занимать, было бы здоровье. Оно у него, к сожалению, стало пошаливать. Но он, осознав свою ответственность перед детьми, стал более ответственно относиться и к самому себе.

В Запорожье я нашла далеко не всех своих школьных друзей. Одни погибли, другие не вернулись в этот город. Так, не вернулась Таня Филановская – я встретила с ней через много лет в Перми. Но все же компания у нас образовалась: Витя Фальков с женой Любой (молодые врачи), Зина Вайнгарт с мужем Ланей (инженеры по образованию, Ланя работал на железной дороге, а Зина преподавала в металлургическом техникуме); наша Женя с Марой Чарным (они вскоре поженились; Женя кончила юридические курсы, работала адвокатом и училась заочно в Харьковском юридическом институте, а Мара, выпускник нашей школы, учился в Запорожском механическом вместе с Осей); Осины институтские друзья – сестры-близнецы Майя и Неля Зинчик и муж Майи Ося Каневский.

После института Ося стал работать на крупном металлургическом заводе «Запорожсталь» и получил квартиру на Шестом поселке. Это была хорошая двухкомнатная квартира на третьем этаже нового дома, недалеко от плотины, парка и стадиона. В дни матчей, да и в другие дни, друзья собирались у нас. Женя в одном из писем, датированных серединой шестидесятых, то есть когда ему было уже лет 20, вспоминал о той нашей квартире и о своей мальчишней жизни того времени: «С балкона квартиры нашей виден был стадион “Металлург”, а двор был огромный, со всех сторон окруженный серыми коробками. Одна из сторон этого прямоугольника выходила на проспект Ленина, другая соседствовала со зданием горсовета. Кажется, между ними была непроезжая улица – аллея, открывавшаяся доской почета, украшенная прямоугольными бассейнами с фонтанами и кафельными сказочными рыбами на дне и упиравшаяся в городской сад. (Да, верно. Ленечка когда-то упал и рассек себе бровь о край бассейна. У него до сих пор виден шрам, напоминающий об этом – *Н.Л.*).

Около современной ГЭС сохранялись еще тогда (наверняка, они и сейчас не убраны) развалины довоенной – то, что не понадобилось восстанавливать. В этих развалинах я играл в войну и в прятки. А на Днепре рвали порошок скалы напротив острова Хортицы (там-то и была сечь когда-то).

Однажды зимой, когда было достаточно холодно, чтобы Днепр стал, я убежал с друзьями на лед. Мы добрались до ближайших скал, и тут где-то рядом начали рваться динамические шашки. ...Это было чертовски страшно. Я помню: мы втроем (нас было трое пацанов) бежали к берегу, огибая лужи ... я был среди этой троицы самым младшим, а потому старался казаться храбрее всех и ныл бодрым голоском: «От які дурни, пішли де взривають»».

Мы с Осей много гуляли, как это водится в южных городах, где улицы похожи на бульвары и большую часть года тепло. Каждый вечер мы гуляли после работы, не говоря о выходных; магазины закрывались поздно, улицы были хорошо освещены, запружены народом, особенно молодежью. Люди, как правило, были нарядно одеты, оживлены, было много шуток, смеха, песен, разговоров. Когда мы потом оказались на северо-востоке страны, в совсем другом климате, нам этих гуляний очень не хватало. Особенно мне. Ося все-таки был не жужанин, а москвич.

В институте я работала увлеченно и много, читала всю историю зарубежной литературы, введение в литературоведение, вела литературный кружок. Я старалась равняться на своих ифлийских учителей, читать проблемно, свободно, не по учебнику, не по бумажке. Студенты меня любили. Со многими у меня установились дружеские отношения. С одним из моих друзей тех лет, Юрой Фальковым, я потом неожиданно встретилась в Америке. Вскоре после моего приезда в Миннеаполис в нашей квартире (я тогда жила у Алика) раздался телефонный звонок. Мужской голос, который я не узнала, спросил обо мне. Это оказался Юра Фальков, живущий в Сан-Франциско. Он встретил там родственников моей пермской подруги, услышал от них обо мне и предложил мне сотрудничать в русскоязычной газете «Взгляд», в редакции которой он работал. Там появились мои первые американские публикации. Дважды я побывала в Сан-Франциско в гостях у Юры и его жены Изы.

А в Запорожье счастье длилось недолго.

На третьем году моей работы в тамошнем пединституте, в 1948-м, началась пресловутая кампания борьбы с космополитизмом, представлявшая собой не что иное, как гонения на евреев. Сталин шел по гитлеровским стопам. Началось с выступлений в печати против театральных критиков. Потом – против всей художественной и нехудожественной интеллигенции еврейского происхождения. Убили великого еврейского актера и крупного общественного деятеля Соломона Михоэлса. Расправились со всем составом еврейского антифашистского комитета. Затеяли дело врачей. Рубили под корень не только в сто-

лицах, но и в провинции. Оживили никогда, впрочем, не исчезавший, бытовой антисемитизм. Я оказалась подходящей фигурой на роль главной жертвы этой борьбы в запорожских масштабах. Еще бы, такое удачное сочетание: пятая графа плюс зарубежная литература. Ясно, налицо еврейское низкопоклонство перед Западом.

К нам приехала специальная комиссия из Киева. Ко мне на лекции стали присылать стенографистку. Мои студенты, тревожась за меня, принесли мне конспекты моих лекций, но я отказалась взять их. Проректор по учебной работе, человек не злой, но служака, вызвал меня и сказал: «Вы читаете курс вот так, – он повернул свою руку ладонью вверх и приподнял ее, показывая, как я приподнимаю значение зарубежной литературы. – А нужно читать вот так», – и, повернув руку ладонью вниз, слегка опустил ее, уча меня принижать значение этой литературы. Потом было заседание совета института, где разбирались мои «ошибки». Сегодня это могло бы быть материалом для анекдота, а тогда мне было не до смеха. Меня упрекали, например, в приписывании воспитательного значения роману «буржуазного» писателя Дефо «Робинзон Крузо» («разве нашей молодежи не у кого учиться?»), в переоценке образа Гамлета («ведь он даже не знает, быть ему или не быть»), в злонамеренном игнорировании антирасистской проблемы в шекспировском «Отелло», которая там и не ставится, в искажении ленинских высказываний о просветителях «вследствие их незнания». На деле же эти высказывания искажались не мною, а моими критиками, видимо, и по незнанию, и по злему умыслу. Речь шла об известной фразе: «просветители... были чем угодно, только не буржуазно ограниченными». Мне инкриминировали, что я относилась это высказывание, якобы касавшееся только русских просветителей, также и к западным. Мои обвинители с умыслом «забывали» при этом о словах Ленина, прямо подчеркивающих, что он имеет в виду и тех, и других. Мою приятельницу Сарру Погреб, читавшую курс советской литературы и влюбленную в поэзию, уволили сразу же (она стала поэтессой, живет сейчас в Израиле), а мне позволили доработать до конца учебного года, еще полтора года давали часы на заочном отделении на условиях почасовой оплаты, а потом отобрали и это.

Сарра тогда вернулась в Днепрпетровск, где оставалась ее семья (они не успели перебраться в Запорожье), и я встретила с ней снова через много лет, когда уже из Америки отправилась в гости в Израиль. Незадолго до того, из публикации Доры о Сарре в русско-американской газете «Новое русское слово», я узнала, что они с Саррой – давние подруги, что их юность прошла рядом, в общих мыслях и исканиях. Конечно, Сарра выглядела постаревшей, но оставалась так

же молода душой. Перед отъездом из Союза она издала в России книжку своих стихов, в чем ей помог Давид Самойлов, высоко оценивший ее поэзию. Сарра подарила мне эту книжку. Ее стихи удивительно близки мне – одно поколение, одно восприятие мира. Приведу два из ее стихотворений – одно, написанное до Израиля, другое – в Израиле:

xxx

Зиновию Гердту

Есть медицина лирики высокой.
Летит спасать – ты только позови.
И привитые в отрочестве строки
Целебно циркулируют в крови.

Мне кажется, мы составляем братство.
Нам выдан был без векселя заем.
Врачует дух подспудное богатство,
И мы друг друга всюду узнаем.

Звучит пароль: «Я – с улицы, где тополь...»
И отзыв, точно выдох: «... удивлен».
И будто где-то скрещивались тропы,
И нас качал в пути один вагон.

«Вошла ты». Отзыв: «Резкая, как «нате!» –
То облако над нами навсегда,
Как будто был один у нас фарватер.
Одни созвездья. Общая беда.

Пароль: «Как это было! Как совпало...»
И отзыв: «Это все в меня запало».
Поэзия. Сама душа России.
Снега. Дожди.
Как правило, косые.

xxx

Мы теперь – самаритяне.
Озираемся безмолвно

Горизонт, как в океане,
И холмов застыли волны.

Все торжественно и скупое,
Ось вращается без скрипа,
И огромный синий купол
За несуетность мне выпал.

Каменистые террасы.
Пятна крон. Внизу – посевы.
В мире нет древнее красок,
Чем оливковый и серый.

Ветер с маху налетает,
Паруса белья мотает.
А над вами снег кружится
И в душе моей не тает.

Эти строки родились у Сарры почти через сорок лет после того, как мы расстались.

«Я домолчалась до стихов» – так назвала она свою книжку, процитировав строчку из своего же стихотворения.

А тогда, в Запорожье, я, потеряв работу в институте, ушла в вечернюю школу преподавать немецкий язык. Мой диплом давал мне право на это, но опыта у меня не было никакого. В учебном плане ИФЛИ, а затем филфака МГУ, где я училась, не было в то время ни методики преподавания, ни педагогической практики. Зарабатывала я очень мало, к тому же работа в вечерней школе не слишком радовала меня.

Я хотела вернуться к преподаванию зарубежной литературы, хорошо понимая, что в данной ситуации осуществить это вряд ли удастся без степени кандидата филологических наук. Я принялась за подготовку кандидатской диссертации с тем большей охотой, что всегда мечтала о научной работе в своей области. Но уверенности в том, что мою диссертацию примут к защите, не было. Могло, помимо всего прочего, серьезно помешать то обстоятельство, что в 1948 году, еще до пресловутой кампании по борьбе с космополитизмом, я вступила в кандидаты партии; но когда эта кампания началась, надеяться, что меня в институте примут и в члены этой организации, уже не приходилось. Я подала заявление в кандидаты партии вовсе не из карьеристских соображений. Просто я пересидела в комсомоле, и мне казалось естествен-

ным сделать следующий шаг – ведь это было вскоре после победы нашей страны в той страшной войне, в которой и я принимала посильное участие и еще не разуверилась в благотворности руководящей роли партии. Для защиты диссертации быть не принятой из кандидатов в члены партии было гораздо хуже, чем не вступать в нее совсем. Однако дело было сделано, надо было искать какой-то выход, и я его нашла.

Я снялась с учета в парторганизации пединститута и встала на учет в домоуправлении, как какая-нибудь пенсионерка. Там меня приняли в члены партии без проволочек. Мне рассказывали потом, что секретарь парткома института Жовтонижко, порядочный юдофоб, спрашивал после моей защиты: «Интересно, кто мог ей дать характеристику?»

Диссертацию я писала на тему, рекомендованную мне профессором Р.М.Самариным, появившимся в МГУ в последний год моего студенчества, – «Белинский о немецкой литературе XIX века». Тогда вдруг возник целый ряд диссертационных работ, посвященных русским революционным демократам и их восприятию западной литературы. Работала я над своей темой трудно, долго, приходилось ездить в Москву, чтобы заниматься в центральных библиотеках. Моим консультантом был доцент Владимир Петрович Неустроев, человек добросовестный, но очень осторожный и дарования среднего. Однако выбирать не приходилось. Могу сказать, что я работала сама, сделала многое, изучила очень тщательно не только самого Белинского, но и разнообразную периодику его времени. Я всерьез увлеклась Белинским, пленившим меня своей открытостью, смелостью мысли, интенсивностью исканий, эстетической восприимчивостью. В феврале 1953 года, в разгар дела врачей и в канун смерти Сталина, я защищалась в МГУ. Очень боялась идти на защиту, но мудрая Осина мама сказала: «Все будет хорошо. Всегда нужно немного сметаны для забелки щей». И она оказалась права. Я защитилась при одном «против» и тринадцати «за».

Но я боялась не без оснований. Запомнилось, что Самарин (он был и завкафедрой, и моим оппонентом) прямо-таки ахнул, узнав, как фамилия моего мужа. «Почему же Вы не поменяли фамилию?», – спросил он меня. Я ответила, выпрямившись и с нажимом: «Я не собираюсь отказываться ни от моей фамилии, ни от всего того, что с ней связано». Ему, видно, стало неловко. «Я вам этого и не предлагаю, – сказал он – но ведь диссертация будет лежать в читальном зале Ленинской библиотеки, ее могут смотреть разные люди. Вы же знаете, среди них может оказаться кто угодно». Но он сам был одним из известных антисемитов. Не знаю, почему он все-таки пропустил меня. Видимо, потому, что моя защита была одной из первых на кафедре после того,

как он сменил проф. Я.М.Гальперина на посту ее заведующего. Гальперин уже не устраивал отдел кадров по пятому пункту. Самарину же, как новому заву, нужны были кафедральные достижения, защиты. А может быть, он опасался раскрыться перед составом ученого совета, где были и истинные интеллигенты. Экземпляр моей работы, который я ему привезла для предварительного обсуждения на кафедре, почему-то пропал бесследно в его книжных завалах, что, помню, меня тогда встревожило всерьез.

После моей защиты мы решили уехать из Запорожья туда, где для меня найдется работа в вузе. Мне не хотелось уезжать далеко от родных мест, и я объездила ряд ближайших городов в поисках работы: Днепропетровск, Харьков, Мелитополь. Меня нигде не брали, хотя кандидатов наук было тогда еще очень немного. Мне взялся помочь профессор МГУ Глаголев, бывший моим первым оппонентом на защите. Он дал мне рекомендательное письмо в Министерство высшего образования, адресовав его своему бывшему выпускнику. Тот посоветовал мне обратиться в университет города Грозного. Оттуда, в ответ на мой запрос, пришло письмо с самыми щедрыми обещаниями: полная ставка, квартира, и т.п. Но на мою анкету они отреагировали по-другому и в совершенно другом тоне: они, якобы, нашли специалиста на месте. Я разослала тогда свои заявления во все институты, объявлявшие конкурс на замещение вакантной должности преподавателя по кафедре литературы. Тогда в «Учительской газете» подобных объявлений бывало предостаточно, и должности, о которых шла речь, были действительно вакантными. Позднее укоренилась практика объявлять конкурс на фактически занятое место. Но тогда было не так, кадров очень не хватало. Я получила приглашения из многих мест, однако едва там знакомилась с моими анкетными данными, как следовал отказ под разными предлогами.

Мой главный недостаток – еврейство – перевешивал все мои достоинства. В конце концов, мы с Осей поехали в столицу Удмуртской АССР Ижевск. Я получила туда назначение в Москве, в Министерстве просвещения, где толпилось множество людей, ищущих работу на просторах нашей необъятной и неприветливой к нам родины по тем же причинам, что и я. С одним из таких ищущих, Павлом Гурфинкелем, я потом встретилась в Ижевске, где он возглавил кафедру психологии.

Все это было уже после смерти «вождя и учителя», который, как мы узнали в годы перестройки, готовил высылку всех евреев на север, чтобы завершить дело по окончательному решению еврейского вопроса, не доведенное Гитлером до конца. К счастью, Сталин не успел осуществить свой замысел.

Надо сказать, что антисемитская кампания, ослабив центральные вузы страны, в целом способствовала укреплению периферийных, особенно на востоке, заметно улучшив их преподавательский состав.

ИЖЕВСК

Ижевск расширил наши представления о российской периферии, мы никогда еще не забирались так далеко на северо-восток страны.

Город в первые дни произвел на нас тяжелое впечатление. Он был грязный, убогий и дорогой. Тротуары были деревянные, пьяных на улицах было в избытке. Продукты на рынке были в два раза дороже, чем на Украине. Когда я столкнулась с ценой на молоко, не подумала, что это за литр, а оказалось, что только за пол-литра. Нас поселили вначале в помещении студенческого общежития, где нас сразу же атаковали клопы. Такие условия не могли нас обрадовать, ведь с нами были дети. Мы очень расстроились и чуть было не уехали обратно, но потом наша жизнь в Ижевске относительно наладилась и первые впечатления отступили перед последующими.

В Ижевске нас поразило отсутствие еврейского вопроса: мы ведь уже почти привыкли к тому, что на Украине от него никуда не деться. Но в Ижевске не было таких традиций. К тому же удмурты оказались в целом скромными, даже застенчивыми людьми, не претендовавшими на многое и понимавшими, что им предстоит еще многое сделать для развития своей национальной культуры. В них не было и следа национальной спеси, не чуждой многим на Украине. Словом, в Удмуртии мы, казалось, могли отдохнуть от пресловутого еврейского вопроса. Позже, впрочем, ситуация в этом смысле изменилась.

В Ижевске мы прожили 10 лет. Это были трудные и счастливые годы, может быть лучшие в нашей жизни – ведь мы были молоды, мы оба только вступили в третье десятилетие. Мы работали с энтузиазмом, Ося – на заводе, я – в пединституте. В Ижевске росли и учились в школе наши сыновья. Там родился наш третий сын Алик. Он отметил свое рождение высокой струей, пущенной вверх в то самое мгновение, когда он оказался в руках принимавшей его акушерки, как бы выразив этим свое отношение к миру, в котором ему предстояло жить. В Ижевске у Жени появились самые близкие его друзья – Никита Померанцев и Саша Талашов, очень славные и интеллигентные мальчики. Когда мы поселились в Перми, Женя ездил к ним, а они – к нему. Никита и Саша приезжали в Пермь и после гибели Жени, они привезли нам и Тане (женечкиной вдове) его прекрасные фотографии.

Мы с Осей тоже приобрели в Ижевске новых замечательных друзей, которых сохранили на всю оставшуюся жизнь. О них я расскажу чуть позже.

Два раза в год, зимой и летом, я ездила в Запорожье, зимой – отрывая время от командировок в Москву, а летом – в отпуск, с детьми. Иногда оттуда я отправлялась на отдых еще куда-нибудь, оставляя детей на Украине у родителей, иногда мы отдыхали все вместе, чаще всего в Бердянске. Раза два или три с нами ездил и Ося, но он после армии страдал хронической язвой двенадцатиперстной кишки, и поэтому в отпуск, как правило, ездил лечиться на воды – был в разных санаториях на Северном Кавказе. Трижды я ездила туда с ним – один раз в Кисловодск и дважды в Ессентуки.

В Ижевске у нас вначале были немалые квартирные трудности. По молодости и недомыслию мы свою квартиру в Запорожье сдали заводу, от которого получили ее, хотя могли, как мы узнали позже, поменять ее на ижевскую. В общежитии оставаться было невозможно, и нашелся добрый человек, который нам помог. Это был Альбин Антонович Поплавский. Он возглавлял монтажное строительное предприятие, базировавшееся в Магнитогорске и переехавшее с места на место. До Ижевска это предприятие работало какое-то время в Запорожье. Ося там Поплавского не знал, но его тезка и друг по институту Ося Каневский был с Поплавским в дружеских отношениях и дал моему Осе письмо к нему. Поплавские, Альбин Антонович и его жена Маргарита Владимировна, очень отзывчивые люди, просто взяли нас вначале к себе, в свою трехкомнатную квартиру, хотя у них у самих было двое детей, сын Эдик и дочь Иришка, а нас вместе с няней было пятеро. Ося оформился на работу на тот самый завод, где в то время вел строительство трест Альбина Антоновича, и мы перебрались в комнату в коммунальной квартире, расположенной на первом этаже того же дома, находившегося в его ведении. Альбин Антонович получил выговор по партийной линии за самоуправство, но нас не выгнали, а подселили во вторую комнату (их было в этой квартире всего две) семью из трех человек – мужа, жены и мальчика Бори, ровесника Леночки. Они еще в пятидесятых уехали в Израиль, не знаю, как им это удалось. Мы с Осей их тогда не понимали и не вникали в их обстоятельства. У нас были свои заботы. После их отъезда в освободившейся комнате стала жить молодая пара с только что родившимися близнецами. Мать явилась к директору завода со своими малютками-девочками и положила их на стол в его кабинете. Директор сдался, и бездомная рабочая семья получила комнату. Мы были рады за них, но в квартире стало уж очень весело. Впрочем, мы жили с соседями мир-

но. Молодая мама, разрывавшаяся между малышами и работой (тогда не давали длительного декретного отпуска), нередко приводила в пример своему мужу моего: Ося помогал мне по хозяйству, мыл посуду, делал много другого.

А с Поплавскими мы дружили, часто заходили друг к другу, Альбин Антонович и я ездили вместе на каток. Он любил литературу, писал стихи, мы их с удовольствием читали. Их дочь Ириша потом приехала учиться в Пермь на филологический факультет, но не получила места в общежитии и, помыкавшись, вернулась в Ижевск.

В Ижевске наши мальчики поначалу стали болеть. Поскольку Ося, привезя всех нас, должен был еще вернуться в Запорожье, чтобы рассчитаться на заводе «Запорожсталь» и отправить контейнером нашу скудную мебель, мы сочли за благо отправить Ленечку на время к моим родителям, чтобы не подвергать его неизбежным трудностям, связанным с нашим устройством на новом, далеко не комфортном месте. Наш ребенок поехал туда с радостью, мои родители были счастливы, но Ленечка потом очень переживал свою отдаленность от нас и спрашивал с упреком: «Почему вы так сделали, чтобы Женя был у вас старшим?» Тогда наше решение казалось нам единственно верным, тем более что жизнь детей на попечении бабушек и дедушек в годы войны и после нее вовсе не была редкостью. Но теперь я понимаю, что этого не следовало делать – вовсе того не желая, мы нанесли ребенку глубокую душевную травму.

Мы забрали Леню, когда мой папа тяжело заболел, сломав ребро. Для мальчика началась новая жизнь: новый для него город, новая обстановка, Женечка, мы с Осей, садик, школа, уроки музыки (мы купили для него пианино), новые друзья, новые впечатления. Он был прелестный мальчик, очень добрый, хорошо воспитанный (проблемы возникли позднее). Уже тогда проявились его влюбчивость и склонность к фантазиям. Он всегда был влюблен в какую-нибудь девочку из детского сада и всегда что-нибудь придумывал. Детский садик был через дорогу от нас. Он прибежал домой сам, и к тому же раньше положенного времени. Как-то воспитательница сказала мне, что он часто отпрашивается, чтобы ухаживать дома за малышом. Малыша же у нас тогда еще не было. В другой раз в ответ на мой вопрос, что у них было в детском саду на обед, он рассказал мне, что обед им дали сухим пайком, так как они, якобы, все ходили в тот день на речку.

А потом появился маленький Алик. Старшие прыгали от восторга до потолка. «Назовем его Алешкой или Сашкой», – предложил Женечка. «Все равно, как назвать, лишь бы был смешной», – возразил Ленечка. Малыш не обманул их ожиданий, и они очень помогали растить

его: возили в ясли и из ясель (пришлось отдать его туда, поскольку институт нянь перестал существовать), присматривали за ним. Леня считал при этом, что я слишком балую Алика, и пенял мне на это.

Алик родился, как я уже упоминала, через месяц после смерти Лили. Еще через месяц к нам приехала осиротевшая Мария Аркадьевна. А еще через два мы получили от Осиной работы (он перешел к тому времени в только что образованный Совнархоз) три больших комнаты в четырехкомнатной квартире в новом доме, и уже не в соцгороде, а в центре. Нашему счастью не было границ. Мы не надеялись на такое. Ося хлопотал только о том, чтобы нам отдали вторую комнату в квартире, где мы жили, когда она освободилась. Но ее отдали молодоженам с близнецами. А после появления Алика к нам пришли представители комиссии по квартирным вопросам с Осиной работы, посмотрели, как мы теснимся, и одарили нас сверх всяких ожиданий. В четвертой комнате поселилась Осина сослуживица Антонина Ивановна Белозерова, женщина лет тридцати, незамужняя, со своей младшей сестрой Верой. С ними мы тоже жили вполне мирно и дружно. В связи с переездом пришлось переводить детей из одной школы в другую, что вряд ли было в принципе так уж хорошо, хотя новая школа считалась лучшей.

Благодаря рождению Алика нас ждала еще одна радость: летом 1958 года к нам приехали в гости мои мама и папа, сделав у нас остановку в своем путешествии в Ленинград, к Геккерам. Они увидели, как мы живем, познакомились с нашими друзьями, с Ижевском. К сожалению, папа у нас приболел, – видно, такое дальнейшее путешествие было ему уже не по силам.

В институте у меня дела пошли неплохо. Я читала весь курс зарубежной литературы, курсы истории немецкой и английской литературы (в немецкой и английской группах романо-германского отделения), а также введение в литературоведение. Кафедра показалась мне симпатичной. Ею заведовала очень милая, знающая и скромно державшаяся женщина Анна Николаевна Зимина, окончившая аспирантуру в МГУ. Она была из русской крестьянской семьи, и мать ее, жившая с ними, частенько говорила ей: «Ну, когда же ты работать будешь? А то все читаешь, пишешь...» Мы с Анной Николаевной были дружны. Муж ее, Борис Зиновьевич Мушин (еврей), заведовал кафедрой философии. У них было трое детей – два сына и дочь. Мы бывали в их доме, хорошие были люди. Бориса Зиновьевича мне порой бывало жалко: нелегкая это была доля – преподавать марксистско-ленинскую философию и постепенно разуверяться в ее постулатах. А в нем, я думаю, шел этот процесс. Мы видели расцвет семьи Мушиных и видели, как

она трагически распалась. Уже когда мы жили в Перми, умер Борис Зиновьевич, потом покончил с собой их старший сын Саша (не знаю, по каким причинам), рано умерла Ирина. Еще в подростковом возрасте она, под впечатлением смерти бабушки, нервно заболела, перестала есть и совершенно испортила свое здоровье. Ее лечили в разных больницах, в том числе в психиатрической. Она избавилась от нарушений психики, но успела возненавидеть мать за то, что та решила определить ее в такую больницу, и осталась больным человеком. Я была ее первым учителем и наставником в институте, она стала хорошим литературоведом, защитила кандидатскую диссертацию, подготовленную под руководством Т.Тронской. Последние годы она жила в Ленинграде, писала статьи и книги (книги – в соавторстве с мужем), опубликовала ряд интересных работ по немецкой и русской классической литературе – и ушла из жизни молодой. Анна Николаевна переехала в Москву, где стала жить с младшим сыном Володей, но жизнь ее там была несчастливой. Ради сына она поменяла свою большую ижевскую квартиру на однокомнатную в Москве, но жить с сыном ей было очень нелегко. Он успел побывать на заработках в Норильске, где растерял свою интеллигентность, если она у него была. Он и его жена не понимали Анну Николаевну, относились к ней откровенно плохо, и она стала искать утешения в религии. Перед отъездом в Америку я с ней встретилась, она подарила мне две фотографии Ирины.

В Ижевске мы быстро вошли в тесную дружескую компанию. Самыми близкими нашими друзьями стали Инна Львовна Годкина и Сталь Исаакович Волошин. Они были выпускниками Московского института иностранных языков, «англистами», жили рядом с нами, почти что в соседнем дворе. Инна была красивая, яркая, порой слишком громкая, очень компанейская и общественно активная в хорошем смысле слова. По натуре отзывчивая, она хотела и умела помогать, если в этом нуждались, и помогала многим. На нее можно было положиться. Очень уверенная в себе, она умела придавать уверенность и другим. Я это знаю по себе. Я ведь более склонна к колебаниям в сложных и не очень сложных ситуациях. У нее же характер был властный, она умела командовать, любила давать советы, вникая в проблемы другого, советовала настойчиво. Инна работала на кафедре у собственного мужа, преподавала прекрасно, дружила со студентами, что не мешало ей быть очень требовательной и добиваться результатов. Сталь выглядел скромно и благородно. Он и был человеком очень сдержанным и благородным, глубоко интеллигентным и рядом с Инной казался подчас даже тихим. Никогда не афишировал себя, не нажимал ни на кого, всегда требовал от себя и от Инны больше, чем от

других, и всегда знал, чего хочет. Он был честен и человечен во всех своих замыслах и поступках. У Сталя была натура ученого, он готовил диссертацию о частицах в английском языке, но завершить ее ему было не суждено. У него был комбинированный порок сердца. Имея врожденный порок, он пошел добровольцем на фронт, приобрел там еще один и дожил всего до 36 лет. Обыкновенная простуда, которую он схватил, выехав в район, чтобы проконсультировать студентов-заочников, вызвала декомпенсацию и свела его в могилу. Их сыну Саше, удивительно похожему на отца, было тогда лет шесть. Инна и Слава Давыдовна, мать Сталя, увезли его в Москву, чтобы похоронить там. Мать пережила сына ненадолго, ее сломила эта утрата. Инна вернулась работать в Ижевск, а через год уехала в Москву, где жили ее родители и сестры. Она поступила в целевую аспирантуру, предъявив материалы, собранные Сталем, завершила и защитила эту работу и осталась с сыном в Москве.

Мы почти не переписывались, но встречались регулярно, каждый раз, как я бывала в Москве. Я нередко останавливалась у Инны, а если нет, то часто к ней заходила. Она очень любила наших детей, а они ее, особенно Леня. В моих глазах он часто видел упрек за какие-то свои прегрешения, а она любила его безоговорочно, хотя, как и мы, тревожилась за него и часто с ним беседовала. Инна ждала у нас, когда Ося привел меня с Аликом из роддома, и сразу же взялась за дело, как родная мать или сестра. Ее воспоминания о том, как обращаться с младенцем, были свежее, чем мои, ведь Женечка был на 12 лет старше Алика, а Ленечка – на 7. Инна не однажды помогала нам. Не раз, когда мне приходилось уезжать на какое-то время, она брала на себя многие заботы о моих мальчиках. Мы с Инной всегда были очень откровенны друг с другом, все друг о друге знали, советовались обо всем. Инна при этом очень умела слушать – качество не частое. Вернувшись в Москву, она через нас познакомилась и подружилась с Фирой, так что и тут у нас оказался общий круг друзей. Мы не смогли повидаться, когда я приезжала в Россию из США, – ее тогда не оказалось дома, но зато встретились в Бостоне, когда она приехала в США навестить свою сестру, эмигрировавшую в Нью-Йорк. Надо ли говорить, как мы были рады этой встрече?

Мы с Осей очень дружили также с Еленой Гелиодоровной Антонович и Семеном Анатольевичем Сандлером. Я и теперь переписываюсь с ними. Леночка была женственная, милая и по-женски умная. Семен – добрый, мудрый, разносторонне одаренный, неутомимый в любой работе. Он был полиглот, талантливейший преподаватель, прекрасно пел на всех знакомых ему языках, а знал он идиш, иврит, араб-

ский, польский, немецкий, английский, русский, удмуртский, может быть, еще какой-нибудь. Очень запомнились вечера с его пением. Он явно предпочитал еврейские песни, многие из них я впервые узнала в его исполнении – то грустном, то комическом, но всегда душевном. У них были две прелестные девочки – Поля и Ира, ровесницы соответственно Жени и Лени. Обе потом учились в Москве в институте иностранных языков, Поля – на немецком, Ира – на английском отделении. Жили они в то время все в том же алькове у Марии Аркадьевны, сначала одна, потом другая.

Лена и Семен нашли друг друга в Ижевске, куда попали в эвакуацию, Лена – из Ленинграда, Семен – из Западной Украины. Их брак был вторым для обоих. Лена пережила блокаду в Ленинграде, первый ее муж, художник, погиб на Ленинградском фронте. Семен жил прежде в Польше, хотя жила и в Палестине; в войну от рук немцев погибла его беременная жена и почти все его родные. Кажется, у него осталась только сестра, переселившаяся в Австралию. Именем *Полина* звалась одна из его сестер. В Польше Семен был коммунистом, в Палестину он ездил, если не ошибаюсь, в качестве партийного функционера. В СССР его в партию не приняли как выходца из другой партии. Его это огорчило, он плохо понимал такую логику. В Ижевском пединституте Семен преподавал немецкий. Он защитил диссертацию по методике преподавания немецкого языка в удмуртской школе, работу уникальную. Лена преподавала литературу в педагогическом техникуме.

Позже, во времена перестройки, когда стали предприниматься попытки возрождения еврейской культуры, что давалось с большим трудом, поскольку надо было преодолевать изрядное сопротивление, обнаружилось, что в СССР почти нет специалистов ни по идиш, ни по ивриту. Семен подготовил и издал самоучитель по языку идиш. Его заметили. По поручению Министерства просвещения РСФСР Семену предложили написать азбуку на идиш для школ Биробиджана. Он работал над азбукой с большим увлечением, проявил большую изобретательность в сфере методических приемов, съездил в командировку в Биробиджан, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Впечатления его оказались обескураживающими. Он увидел, что в Биробиджане евреи вовсе не говорят по-еврейски, что и там, в этой автономной области, именуемой еврейской, еврейская культура была сведена на нет, как и повсюду в стране. Он понял, что детям Биробиджана придется изучать идиш как иностранный язык и что азбуку надо строить для них соответственно этому. Он готов был написать азбуку заново, о чем и доложил своим заказчикам. Однако они на это не согласились, видимо побоявшись, что истинное положение вещей с евреями в СССР станет

широко известно в мире (как будто это не было известно?!). Семен же продолжал работу по восстановлению и развитию еврейской культуры в разных формах. Он стал преподавателем еврейского университета, открытого в Москве, начал работать с молодыми еврейскими писателями, преподавая им идиш и литературу на идиш, консультантом еврейской секции Союза писателей. Он – горячий сторонник языка идиш и не одобряет политики его забвения ради иврита, проводимой в Израиле. Но я забежала на годы вперед, когда Семен и Лена покинули Ижевск и перебрались в Тирасполь, откуда они регулярно и на длительные сроки стали ездить в Москву в связи с работой Семена. Там я и увиделась с ними перед отъездом в США. Леня запечатлел эту встречу на снимке.

Пора, однако, вернуться в Ижевск.

Мы все очень любили друг друга, часто встречались, помогали друг другу во всех делах, умели веселиться. И у Инны со Сталем, и у Семена с Леной были дачи, и мы там частенько бывали. Мы тоже чуть не приобрели участок под дачу, но когда умерла Лиля, мы поняли, что наша жизнь в Ижевске временна и обзаводиться недвижимостью не стоит. Тем более что у нас, к сожалению, никогда не было к ней особого стремления.

Мы дружили также со Львом Александровичем и Галиной Федоровной Лещинскими. Он был врачом-терапевтом, известным в городе, она – преподавательницей истории партии в сельхозинституте. Лев стал профессором, главврачом больницы, преподавал в мединституте, ездил на многочисленные внутрисоюзные и международные научные конференции, широко публиковался, популяризируя медицинские знания. Детей у них не было. Они собирали картины, скульптурные работы. У них было немало подлинников, квартира их была похожа на музей.

Назову еще семьи Фриды и Миши Дорфман, Тамары и Миши Миллер, Симы и Изи Гельберг. Как и у нас с Осей, в семьях Миллеров и Гельбергов жены были гуманитарии, а мужья – технари, Дорфманы же оба имели инженерные специальности. Всех их, кроме Тамары, бывшей в то время в отъезде, я повидала перед эмиграцией в Америку: весной 1992 года я была в Ижевске на научной конференции. Все отнеслись ко мне очень тепло. Я повидалась также с друзьями Женечки Никитой и Сашей и с их семьями, а они показали мне видеofilm, снятый ими в тот Новый год, когда Женечка с Таней приезжал к ним в последний раз, за полгода до своей гибели.

Мы дружили с Еленой Александровной Миллиор, хотя она, ровесница века, была старше нас всех лет на 20 с лишним, исключая Семена Сандлера. Но и Семен был много моложе ее. Это была женщина

из «Серебряного века», очень образованная, учившаяся еще у Вячеслава Иванова, знавшая языки, неуемная в творчестве, путешествиях и культурных впечатлениях. Она формировалась в среде гуманитарной интеллигенции, творческие усилия которой определили взлет русской культуры в начале XX века, и пронесла до конца своих дней (умерла она в 1978-м) то отношение к жизни, науке, искусству, те нравственные принципы, которые были воспитаны в ней духовной атмосферой поры ее юности. Елена Александровна была одинока и жила с престарелой матерью, которую вскоре похоронила. В числе студентов института было несколько евреев с Украины, где они из-за антисемитизма не могли попасть в высшее учебное заведение. Среди них была Фираг (ныне Анисимова) – отца у нее не было, а мать недавно вышла замуж и жила своей жизнью. Елена Александровна называла Фиру своей дочерью и по-матерински заботилась о ней. Нашу семью она очень любила. Осю за его восточную внешность звала Гасанчиком и завидовала моей «гармоничности» (имелось в виду сочетание в моей жизни семьи и работы).

Мы много беседовали с Еленой Александровной о ее и моих трудах и планах, я показывала ей все, что писала, и очень считалась с ее мнением. Мне потом очень не доставало ее советов, когда я оказалась в Перми. В Ижевске мы работали на одной кафедре. Ее специальностью была история античности, но в Удмуртии не было условий для исследовательской работы в этой области, и Елена Александровна преподавала античную литературу. Начальство ее не жаловало – слишком она была интеллигентна и независима в своих суждениях. Ее любили студенты, она приглашала их к себе, они слушали вместе музыкальные записи, читали стихи античных авторов, поэтов Серебряного века, стихи Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой. Это неощущалось властями, этих поэтов тогда не изучали, не издавали, власти считали их идейно чуждыми. Елену Александровну тоже, видимо, считали чуждой, во всяком случае, ее выставили на пенсию вскоре после достижения ею пенсионного возраста, хотя она была кандидатом наук, что ценилось тогда весьма высоко. Потеряв работу, она стала периодически и надолго уезжать в Ленинград, где у нее были друзья студенческих и аспирантских лет, жила там на частной квартире, оттуда ездила в Москву, в другие места (путешествия она очень любила), однажды нанесла визит нам и Перми, прочитала спецкурс в Пермском университете. В то время впервые за много лет был нарушен заговор молчания вокруг имени Булгакова, начали выходить его произведения. Елена Александровна написала серию эссе о его романе «Мастер и Маргарита», она одной из первых осмыслила этот роман в контексте

мировой культуры, в соотнесении с Библией, с «Доктором Фаустусом» Томаса Манна, с «Братьями Карамазовыми» Достоевского. Недавно в Ижевске был издан специальный выпуск Вестника Удмуртского университета, целиком посвященный Елене Александровне. Значительную его часть занимают эти глубокие и интереснейшие эссе. Мне этот выпуск прислали в США, я была очень рада ему и написала на него рецензию, включив в нее некоторые мои воспоминания о Елене Александровне.

В Ижевске мы часто ходили в русский драмтеатр, подружились с его актерами и режиссерами, встречались с ними и в их актерском доме (у них было что-то вроде общежития), и у себя. Я писала рецензии на спектакли театра в местную газету – на «Крошку Доррит», «Ромео и Джульетту» и другие. Нашей близкой приятельницей сделалась Галина Абрамовна Горохова, работавшая в театре завлитом. Это была ярко талантливая, остро мыслящая и глубоко чувствовавшая женщина, пережившая много тяжелого. Прекрасно она писала, ее письма – готовые литературные произведения. Она была родом из Минска, в войну попала с родителями в минское гетто, оттуда они бежали в леса, к партизанам, а бабушка и дедушка остались в гетто и погибли. Родители Галины Абрамовны тоже погибли, но уже в партизанском отряде. Галина одна из всей семьи дожила до победы. Ей удалось поступить в ГИТИС и окончить его. Она уехала по назначению во Владивостокский театр. Там она вышла замуж за актера Горохова, но не снесла его пьянства и с дочкой Олей вернулась в Европу, на сей раз в Ижевск.

Особенно мы привязались к театру, когда туда приехали по окончании Ленинградского ГИТИСа режиссер Аркадий Фридрихович Кац с женой-актрисой Райной Праудиной и театральной художницей Татьяной Швец. Кац пригласил в театр своего земляка и давнего друга, вместе с которым он учился еще в актерском училище в Одессе, актера Анатолия Кричевского с женой Лизой, учительницей. Мы крепко подружились с ними. В Ижевске мы были вместе года два. Потом Аркадий и Райна уехали в Ригу, где жили Райнины родители, известные латвийские актеры. Аркадий стал главрежем Рижского театра русской драмы и вскоре вызвал туда Толю. Они проработали в Риге четверть века, что редкость в истории театра. Нам с Осей очень нравился этот театр, и Рига тоже. Аркадий, насколько я понимаю, прекрасный режиссер, концептуальный, с большим творческим воображением, настоящий мастер; Райна – замечательная актриса, с равным успехом исполняющая и трагические и комические роли. Толя тоже казался мне интересным актером. Таня же, вне всякого сомнения, необычайно талантливый театральный художник. Все они отличные люди, интел-

лигентные, умные, гуманные, совестливые и всегда очень дружили друг с другом. Толя увлекался резьбой по дереву и кости, его квартира была украшена многими его впечатляющими поделками. Он делал и мебель (кровать, панели), и чисто художественные вещи. Женечка, тоже большой умелец, очень любивший работу такого рода, с большим интересом относился к поделкам Толи. Он съездил в Ригу вместе с Таней вскоре после того, как они поженились. Я тоже ездила с ними. Тогда я и увидела Ригу в первый раз, и Толя, влюбленный в этот город, водил нас по его улицам, площадям и скверам, рассказывая обо всех его достопримечательностях лучше любого гида.

Дважды театр приезжал в Пермь; помню, в день их первого приезда мы с Осей, не зная времени их прибытия, пошли погулять по набережной и вдруг встретились с ними: они шли нам навстречу. Во второй их приезд ни Женечки, ни Оси уже не было. Несколько раз после этого я ездила отдыхать в Юрмалу и бывала в Риге у Кацев и Кричевских. Рига мне очень нравилась, помимо красоты архитектуры, удивительным сочетанием столичности и отсутствия суматохи большого города.

Теперь Аркадий и Райна живут в Москве и работают в театре им. Вахтангова. Им невозможно было оставаться в Латвии, они уехали оттуда незадолго до того, как Латвия сделалась самостоятельным государством. Там набирал силу национализм и в короткий срок расцвел пышным цветом. Я останавливалась в Москве у Райны и Аркадия, когда ездила из Америки в Россию, и была счастлива встретиться с ними в Америке, когда они приехали туда со спектаклем «Игра в джин», уже знакомым мне по их пермским гастролям. Теперь он произвел на меня еще большее впечатление, предчувствовала, что это спектакль и обо мне, обо всех старых людях, утративших свою настоящую жизнь и вынужденных не столько жить, сколько играть в жизнь.

Кричевские эмигрировали в Израиль. Я гостила у них в Тель-Авиве две недели, когда ездила в 1993 году в эту страну. Было большой радостью вновь увидеть их, побыть с ними, обогреться душой. Теперь Лизы уже нет, ее унес рак, а Толя живет в Нетании в семье своего старшего сына Вадика.

Но я опять нарушила хронологическую последовательность событий, мне снова надо возвращаться в прошлое.

Ижевск был привлекателен, помимо всего прочего, некоторой патриархальностью, простотой отношений, кафедральными застольями, хотя там тоже плелись интриги, и еще тем, что в нем очень близко была природа. Природа была рядом с домом, через двор: лес, речка, горки, превращавшиеся зимой в снежные, большой пруд, начинавший-

ся прямо в центре города. По нему ходили катера, на его зеленых берегах располагались дачные поселки. Мы жили в Ижевске среди природы, что я очень ценила.

Мы всегда потом с теплотой вспоминали Ижевск, наша жизнь там действительно была полной, хотя общий стиль жизни в столице Удмуртии был далеко не столичным и быт был тяжелым. Много лет подряд Ося возил из Москвы масло, сахар, яйца, рис. Готовили на керосинке, пока нам не поставили газовую плиту. Керосин тоже был проблемой. За молоком и разным прочим стояли в очередях. Бытовых забот и хлопот по дому более чем хватало.

Но будни не заедали нас. Мы часто встречались, выезжали за город, устраивали праздничные застолья. Одним из самых ярких была наша серебряная свадьба (до золотой Ося, к сожалению, не дожил). Было очень весело, много пели, танцевали. Запомнилось, как Ося и Лева Лещинский дуэтом исполняли очень смешные частушки о том, как электричество якобы помогает нам решать все жизненные, в том числе интимные, проблемы.

В институте я работала очень много. Через голову было учебной работы и на дневном, и на вечернем, и на заочном отделениях. Приходилось разрабатывать разные курсы, пробовала я также читать курс немецкой литературы на немецком языке, но это мне было трудно: я владела устной речью недостаточно свободно, приходилось писать и потом читать свои лекции, не отвлекаясь на свободные ассоциации, которые я особенно любила. А однажды одна студентка уличила меня в ошибочном употреблении артикля.

Как раз в то десятилетие появилось требование научных публикаций к вузовским преподавателям, могли издаваться многочисленные сборники научных статей, созываться научные конференции не только в центре, но и в периферийных вузах. Вслед за созданием совнархозов образовались своего рода объединения вузов по зонам, мы должны были составлять кафедральные и индивидуальные планы научной работы. Я, разумеется, не осталась в хвосте. Начав с какой-то юбилейной статьи в ижевском журнале «Молот», я перешла на статьи научного характера сначала по материалам своей кандидатской диссертации, посвященной немецкой литературе XIX века в оценке Белинского, а потом по литературе XX века. Их удавалось публиковать в ижевских и свердловских сборниках, а моя статья о Шиллере появилась даже в научном сборнике ИМЛИ. Именно тогда определился мой предпочтительный интерес к проблемем исторической поэтики. Я начала с романов Анны Зегерс, держась в рамках литературы так называемого

соцреализма, но логика исследования повела меня вглубь и вширь, за пределы этого искусственного ограничения.

Все это, конечно, требовало много времени и душевных сил. Отнимала ли я их у детей? В какой-то мере, наверное. Впрочем, мне самой трудно судить об этом. Дети всегда были в моем сердце, вызывали много тревог и давали много радости. Хотя мальчики были озорными, с независимыми характерами, что, наверное, передалось по наследству и к тому же воспитывалось демократическим духом семьи, где проблемы предпочтительно снимались шуткой, а не окриком, семья была сплоченной. Но мы не сумели сохранить ее такой. После ухода Жени и Оси сплоченности не осталось. Давил окружавший нас мир, у нас не хватало, наверное, сил сопротивления. Пути Лени и Алика разошлись.

А тогда дети любили друг друга и гордились тем, что они Демьяновы, а мы с Осей гордились нашими красивыми и, как нам казалось, одаренными детьми. Особенно замечательно наша семья смотрелась, когда детей стало трое. Моя мама, правда, услышав по телефону, что опять родился мальчик, удивленно и с претензией спросила: «Как, мальчик?» – но младший оказался не хуже старших, и мы любили его не меньше.

Когда старший погиб и сыновей у нас осталось двое, я не могла этого никак понять, и до сих пор не понимаю, что это за количество такое – двое. Я хорошо понимаю теперь ту девочку из стихотворения Вордсворда «Нас семеро», что твердила это, несмотря на смерть одного из ее братьев. Сохранились фотографии, где наши дети запечатлены втроем. Замечательные фотографии. И еще у нас был семейный «гимн» – откуда-то заимствованная Осей шуточная ковбойская песня «Мы искали по степи, где живет наш Том, где у Тома дом, как нам дом его найти...» и т.д. В каком-то смысле эта песня оказалась пророческой. Но могли ли мы тогда знать, что окажемся в Америке в поисках нового дома? Впрочем, нам еще предстояли подобные поиски и в России, хотя там их у нас уже было немало. Я как-то подсчитала: мы с Осей пережили пять переездов из города в город и девять с квартиры на квартиру, что даже по американским масштабам превышает норму. Где уж тут сохранить семейные традиции, разваливающиеся во всем мире!

В Америку мы ехали уже без Женечки и без Оси. Но это случилось намного позже, Алику было уже 32 года, Лене за 40, он эмигрировал позже Алика, мне... сами понимаете.

А в Ижевске потом, как и во всей стране, оказалось вовсе не так уж безоблачно. Там вдруг, как и в нашу бытность в Запорожье, произошел резкий сдвиг вправо.

Помню, после доклада Н.С.Хрущева о культе личности (мы все слушали его в актовом зале института, не вместившего всех желающих, так что люди стояли и в дверях, и в коридоре) Любовь Николаевна Заболоцкая, давний бессменный член парткома, сказала, то ли обращаясь ко мне, то ли про себя: «Наконец-то мы можем быть самими собой». Но тут же добавила: «Да, но ведь мы не знаем, какими мы должны быть самими собой!» Я пересказывала эту ее реплику друзьям как анекдот. Но позже выяснилось, что реплика была не такой уж глупой, иллюзии рассеялись. Любовь Николаевну, правда, больше уже не избирали в партком, но вскоре она и иже с ней смогли вернуться к своей привычной позиции. И все же предупреждающий звонок прозвучал, и многие поняли, что прочность этой позиции сомнительна.

Кажется, все началось с венгерских событий 1956 года, они стимулировали активизацию бдительности местных властей. К нам зачастили проверочные комиссии местного и московского уровня. Запахло уже знакомой мне атмосферой охоты на ведьм. Люди, невежественные в научных вопросах, но обладавшие партийной властью, взялись оценивать степень актуальности тем наших исследований. Помню, как на каком-то собрании, видимо на совете института, кто-то из городского партийного начальства воткнул шпильку в мой адрес, выразив возмущенное удивление неактуальностью (в его понимании) моей научной темы: «И чем только не занимаются? Даже какой-то Зегерс!» Анна Зегерс была антифашистской немецкой писательницей, очень известной и высоко ценившейся у нас в то время. Ее значение, может быть, и преувеличивалось, но я и сейчас считаю ее истинно талантливой. Тогда я опубликовала статью о ее творчестве. Думаю, что мой критик не читал ее произведений.

Не помню, в тот год или перед этим меня избрали партгоргом факультета. Я ознаменовала свое недолгое пребывание на этом посту наивной попыткой сократить число часов на изучение истории партии, чтобы увеличить их число на профилирующие дисциплины. Я считала, и была права, что бесконечные лекции и практические занятия по истории партии отнимают у студентов слишком много времени, необходимого им для чтения художественных текстов и научных трудов по литературоведению и лингвистике. Институт как раз в то время получил министерскую инструкцию, рекомендующую проявлять инициативу и разрешающую вносить некоторые изменения в учебный план, и я, полагая, что это всерьез, решила этим воспользоваться. Мне было тогда невдомек, что это никак не может касаться истории партии и вообще предметов марксистского цикла. Трогайте что угодно, только не это! Подобные инструкции Министерство просвещения и Министер-

ство высшего образования выслали потом неоднократно, но это обстоятельство уже каждый раз специально оговаривалось. А тогда мне досталось на факультетском партбюро за мою легкомысленную инициативу, и в ближайшие переборы меня с секретарства сместили.

В другом же случае, менее значительном, я одержала победу. Гром разразился над головами двух студентов, юноши и девушки, которых застали вечером вдвоем в пустой аудитории. Пединститутские пуристы грозили им исключением, но я их отстояла.

Не помню точно, в каком году должность заведующей кафедры заняла Надежда Михайловна Михайловская. Она преподавала древнерусскую литературу и литературу XVIII века. Надежда Михайловна была очень честолюбивой, но совсем не вредной женщиной. Высокая, интересная внешне, она обладала хорошим голосом и на наших собраниях часто пела. Была она очень кокетливой, одевалась подчеркнуто модно, меняя наряды так часто, что мы не могли понять, как ей это удавалось. Я однажды спросила ее об этом, и она откровенно ответила: «Я на зарплату сразу покупаю что-нибудь себе, а оставшееся трачу на хозяйство». У меня с ней отношения были не очень тесные, но вполне приличные. Она как завкафедрой представила меня в положенный срок, через два года после защиты, на звание доцента, но ректор неожиданно для нас стал возражать против этого. Надежда Михайловна, как женщина с гонором, терпеть этого не стала и обратилась с моим вопросом в горком. Были долгие хлопоты, острые споры. Звание это мне в конце концов дали, и все понимали, что главным тормозом был пятый пункт. Без него все могло бы быть решено сразу: у меня на это звание было полное право, если исходить из действовавших правил. И степень кандидата наук была, и стаж, и публикации. Но правила беспрепятственно действовали не для всех, все были равны, но кто-то еще равнее.

«Поправение» ситуации особенно сказалось в истории с книгой почета. Не помню уже, просто так или к какому-то юбилею в институте решили завести книгу почета и заносить в нее тех, кто имел перед институтом большие заслуги. Незадолго до того умер Сталь Волошин. Семен Сандлер и я выступили с предложением занести в эту книгу и его имя, поскольку он создал кафедру английского языка и много сделал для ее развития. Но наше предложение встретило упрямое сопротивление администрации и партийной верхушки, ректор даже сказал нам: «Тут есть опасность сионизма». Формула замечательная, не правда ли? Мне потом приходилось слышать нечто подобное и в Перми в некоторых ситуациях. Что же касается Ижевска, то услышав эту формулу, мы поняли, что счастье кончилось и пора уезжать.

Уехала Инна, уехали Семен и Лена – Семен прошел по конкурсу в Тираспольский пединститут (Молдавия) на должность заведующего кафедрой иностранных языков. Уехали из Ижевска Аркадий Кац с Райной Праудиной и Анатолий Кричевский с Лизой. Уехала в Ленинград, в театр Владимирова, Галина Абрамовна Горохова. Ижевск опустел для нас. К тому же работа в пединституте перестала меня удовлетворять. Я чувствовала, что у меня есть силы на большее, хотелось работы более сложной и более специализированной. Как раз в это время началось объединение Совнархозов. Удмуртия вошла в Западно-уральский экономический район с центром в Перми, и Осю перевели на работу туда.

За год до того я встретила с преподавателями Пермского университета на научной конференции в Свердловске. Римма Васильевна Комина, заведовавшая в Перми кафедрой русской и зарубежной литературы, предложила мне перейти в Пермь. Я отказалась от лестного предложения. Мне казалось, что у нас в Ижевске все хорошо – работа, друзья, долгожданная квартира. Я не могла тогда предвидеть, как развернутся события. Кроме того, к тому времени я успела побывать на конференции в Перми, и город мне не очень-то понравился. Я считала, что если уж переезжать, то в более интересное место, ближе к центру. Но когда Ося перебрался в Пермь, сомнения отпали, и я подала на конкурс в Пермский университет. Прошла я большинством всего в один голос, потому что зав. секцией зарубежной литературы, ученик Р.М.Самарина, А.А.Бельский, верой и правдой служивший партийной линии, активно сопротивлялся моему избранию. Он, видно, чуял или, может быть, даже знал, что я – человек другой породы. Жизнь моя под его началом была нелегкой, конфликтовали мы с ним немало.

30 ЛЕТ В ПЕРМИ. ОТЪЕЗД В АМЕРИКУ

Переезд в Пермь стал следующим шагом в нашем движении с Запада на Восток. Мы тогда, конечно, не знали, что это отнюдь не последний наш переезд и что нам со временем предстоит большой бросок в обратном направлении, далеко на Запад, в другое полушарие.

Мы прожили в Перми с 1962 года по 1992-й, то есть полных 30 лет, большую часть нашей трудовой жизни. Об этих годах мне писать почему-то всего сложнее. Может быть, они еще недостаточно отодвинулись в прошлое. А было там многое.

Город Пермь оказался много больше, чем Ижевск. Большие заводы – Мотовилиха, завод им. Свердлова, нефтеперегонный завод.

Большой порт. Много высших учебных заведений: университет со своими традициями, созданный еще в 1916 году; институты – педагогический, политехнический (теперь они тоже стали университетами), медицинский, фармацевтический, культуры, сельскохозяйственный; балетное училище, из которого вышли известные мастера этого вида искусства, танцующие в столичных театрах. Хороший оперный театр, отличный балет, известный по всей стране. Богатый музей изобразительного искусства. Известное книжное издательство. Большая областная библиотека ... и т.д. и т.п.

Город тянется по берегам Камы, реки широкой, полноводной, судоходной, с живописными берегами и притоками. Густые смешанные и хвойные леса плотно окружают его и вторгаются в его пределы, или, может быть, город вторгается в эти леса. Пермь – город холодный, более северный, чем Ижевск, с настоящими белыми ночами, как в Санкт-Петербурге, с коротким и жарким летом (в июле) и ранней осенью (порой уже в августе).

В Перми мы прошли через ряд этапов и жизни страны, и жизни нашей семьи. Здесь мы пережили расцвет и спад «оттепели», период застоя, горбачевскую перестройку, развал СССР, последующие за этим годы правления Ельцина. Все эти перемены мы принимали близко к сердцу, горячо обсуждали все происходящее, спорили, надеялись и утрачивали надежду, вновь надеялись и вновь разочаровывались, все яснее понимая, что надеяться на многое нет реальных оснований. Становились все очевидней иллюзорность и вредоносность социалистической идеи, новой большой идеи не было, задача построения «социализма с человеческим лицом», неосуществимая по определению, быстро сменилась устремлением к переходу от социализма к капитализму, идеологический вакуум, особенно после начала перестройки, стал заполняться мифологическими, мистическими, религиозными увлечениями. Попытки демократических преобразований были, видимо, не слишком реалистическими в своих основах и, наверное, не слишком умелыми. Они тормозились сопротивлением «верных ленинцев», фашистов, сторонников сильной власти, национал-шовинистов, монархистов и просто воров разного масштаба. Небывало выросла организованная и неорганизованная преступность, практика заказных убийств. Шел распад экономики, неуклонно ухудшалось снабжение. Все это непосредственно касалось и нашей работы, и нашего быта, становившегося все тяжелее.

Я писала Алику в ноябре 1991 года, когда он был уже в Америке: «Тут обстановка очень нервная, особенно, если слушать радио и смотреть телевизор. Все пугают, пугают. И идет ухудшение... Уже

многое очень дорого. Хлеб у нас уже давно подорожал... Консервы, что стоили 75 копеек (сардины в томате), были недавно 3.60, сегодня 5.46. И это далеко не предел. У нас жизнь веселая. Каждый день (или чуть ли не каждый день) кто-нибудь бастует. Бастуют учителя. Бастуют врачи скорой помощи. Бастуют уже чуть не три недели работники метеослужбы... Врачи детской больницы вместе с больными детьми захватили силком здание бывшей гостиницы обкома. Наш город теперь каждый день показывают в российской программе «Вести» – есть, что показать».

С развитием гайдаровских реформ жить стало вовсе невозможно. Когда я уезжала из страны, полки магазинов были пусты. Еду надо было не покупать, а доставать с большой затратой времени и энергии, не говоря уже о деньгах. В очередях за мукой, яйцами, сахаром стояли целыми днями, кооперируясь с соседями, если не хватало членов семьи, и сменяя друг друга. Помню, как однажды, в длинной и многолинейной очереди за сахаром, уже к концу дня, какая-то молодая женщина зло произнесла, косвенно обращая ко мне: «Вот стоят тут всякие пенсионеры, очереди создают; могли бы и утром придти, когда люди работают». «Я работаю», – сообщила я очереди и ей, но лишь подлила этим масла в огонь. «А зачем вы места занимаете? – закричала она. – Вот из-за таких, как вы, молодые не могут устроиться на работу». Последнее слово осталось все же за мной: «Когда у вас будет такая квалификация, как у меня, я уступлю вам свое место». Она замолкла, но я понимала ее раздражение. Народ в Перми и, конечно, повсюду был раздражен и озлоблен. Люди перегораживали улицы и останавливали движение городского транспорта, протестуя против перебоев в снабжении куревом и спиртным. Последнее давали по талонам, и все, даже вовсе непьющие, стремились отоварить все свои талоны, потому что водка была валютой своего рода – ею можно было заплатить за другие продукты или за услуги водопроводчика, слесаря и т.п.

Приведу отрывок из моего письма Алику от 14 января 1992 года: «Цены на все астрономические. Повысили на днях тарифы на транспорт. Теперь поездом до Москвы в купейном стоит 82 рубля (до того стоило 20. – *Н.Л.*), а в феврале обещают новое повышение еще почти в два раза. Муку я купила 8-го по 8,5 р. кг., а на днях покупали уже по 21 р. – всего не перечислишь. Все на сотни и тысячи. Еще живем запасами, сделанными до нового года. Но их не так много, они не вечны. И всякие пугающие пророчества... И положение усугубляется с каждым днем. Главное же – страх перед возможными беспорядками. Преступность растет катастрофически. В доме Изи Смириня (наш пермский друг, о котором я еще расскажу. – *Н.Л.*) в новогоднюю ночь убили мо-

лодого мужчину, доцента пединститута, возвращавшегося с женой домой. В нашем подъезде в дежурке все время какой-то шум, какие-то сборища... Об аэропорте в Москве тоже разное говорят... Мильштейны, уезжая из Москвы, нанимали телохранителей. Рассказали мне о какой-то женщине, выезжавшей в Израиль, которую встретили в Москве и ограбили на 1500 долларов. Были, видно, извещены о ее приезде и встретили. Люди боятся говорить даже знакомым, когда они уезжают».

Так было в январе 1992 года, и стремительно становилось все хуже. В том же письме я сообщала Алику, что зарплату «безбожно задерживают», это уже входило в практику, но в первый раз поразило. Сейчас, говорят, в СНГ можно купить все, если есть деньги, но в tomto и дело, что деньги есть далеко не у всех, а главным образом у так называемых «новых русских». Человеку обыкновенному прожить очень трудно. «Бюджетники», то есть учителя, врачи, пенсионеры, превратились в «новых бедных» из-за частой задержки выплаты и без того крайне скудных сумм. Путь от социализма к капитализму оказался очень трудным и болезненным.

В пору жизни в Перми мы с Осей осиротели. Умерла Мария Аркадьевна (в 1977 году), через четыре месяца после переезда в Пермь. Видно, для нее была слишком тяжела эта ломка привычного уклада. Нельзя в таком возрасте менять обстановку. Но у нас не было другого выхода, она осталась в Москве совсем одна. Ося делал не одну попытку вернуться в свой родной город, ему не раз предлагали в Москве работу, но прописку не обещали – Москва оставалась закрытой даже для тех, кто жил в ней раньше. Кто-то каким-то образом преодолевал эти препоны, но Ося не умел идти кривыми путями.

Ушли из жизни и мои родители: папа в возрасте восьмидесяти одного года в 1967 году, мама – через 16 лет после него, в 1983-м, без малого через год после того, как она преодолела девяностолетний рубеж. Жизнь их обоих закончилась в Харькове, куда они переехали за 6 лет до папиной кончины, чтобы быть рядом с Юрой. После смерти папы Юра в результате долгих и трудных хлопот соединился с мамой, получив в обмен на свое и ее жилье большую четырехкомнатную квартиру поблизости от того места, где мама с папой жили прежде.

Последний год жизни папы был очень тяжелым. Катаракта сделала его почти слепым. Операция на одном глазу не дала результатов: тогда еще не умели заменять хрусталик. Папа ездил на консультацию в Киев, надеялся, что операция на втором глазу снова сделает его зрячим. Но киевский профессор отказался его оперировать, не рассчитывая на хорошие результаты. Горечь папиного разочарования была безмерна. Папин мир резко сузился, он не мог читать, не мог смотреть

телевизор. Утратив всякую надежду на прозрение, он заболел болезнью Альцгеймера, и вскоре его не стало.

Папа так и не успел побывать в Перми, а мама после его кончины дважды летом приезжала к нам. Я же ездила в Запорожье, а потом в Харьков (после их переезда туда) дважды в год, кроме 1980 года, когда погиб Женечка. У меня не было сил ехать к маме в то лето, я боялась, что мой вид встревожит ее и она поймет, что случилась большая беда. Позже я все-таки приезжала, но ничего ей так и не сказала до самой ее кончины. Мы с Осей и Максимом ездили в Харьков в марте 1982 года, когда маме исполнилось 90 лет. Она была уже очень слабой. В январе 1983-го я была в Москве в командировке, 27-го вечером я позвонила Юре и сообщила, что 28-го выеду к ним. Я приехала 29-го утром. Юра с Идой встретили меня на вокзале. Я сразу же поняла по их лицам, что случилось худшее. 28-го мама скончалась. Инфаркт. Я опоздала.

В Перми стали взрослыми наши дети, женились, сделали отцами, а мы с Осей – бабушкой и дедушкой. Все трое женились рано, руководствуясь нашим с Осей примером. Но, видно, наш опыт для них не годился. Все три семьи оказались непрочными. Количество моих невесток (настоящих и бывших) вдвое превысило количество сыновей. Я часто задавалась вопросом почему. Наверное, главную роль тут сыграло время. Институт семьи в России уже тогда был существенно подточен, а теперь и подавно. Государство было главнее семьи, главнее личности. В условиях, когда и я и муж работали, и очень много, а ни одной из бабушек не было рядом и дети с малолетства пребывали в течение дня в воспитательных учреждениях (сначала в яслях, потом в детском саду), сохранять семейный уклад было очень трудно. Я пыталась бороться за это, опираясь на опыт моих родителей, но достигла немногого. Сказалось, я думаю, и то обстоятельство, что жены наших сыновей были все из другой национальной и социальной среды. Взаимная притирка, вообще-то не очень легкая, осложнялась и этими факторами. К тому же не хватало психологической готовности уступать друг другу вместо того, чтобы «качать права», недоставало убежденности, что мир в браке – самое важное, что он должен быть нерушим и что ради этого можно поступиться многим. Мы с Осей смолodu хорошо это понимали, а наши дети, боюсь, что нет. А страдали внуки. Все эти разводы сказались, не могли не сказаться, на их нервной системе и характере.

Пятеро наших внуков появились на свет, когда мы жили в Перми: Никита (у Жени с Галей), Максим (у Лени с Таней Яринской), Антон (у Жени с Таней Овинцевой), Ян (у Алика с Любой), и Наталья (у Лени с Натальей Трпкой). Потом у Лени, уже от третьей жены, Тони, по-

явились еще двое: Лизочка и Павлик. Но это произошло уже в другой жизни, в Америке. А в Перми мы потеряли Женю, а потом и Ося ушел от нас. Ехали мы в Америку уже без Женечки и без Оси, оставив их и Марию Аркадьевну в Пермской земле.

Первым из нас по ту сторону океана оказался Алик со своим десятилетним сыном Яником (они эмигрировали еще в 1989-м), потом к ним приехала я (в сентябре 1992-го), а потом Леня со своей женой Тоней (в мае 1993-го). Все мы поселились в штате Миннесота, в Миннеаполисе. Но перед этим была Пермь, а для Лени и Алика еще и Москва.

Пермь, как и Ижевск за 10 лет до того, началась для нас со встреч с новыми людьми и новой атмосферой, показавшейся нам более свободной и более интеллигентной, чем в Ижевске. Еще бы! Ведь мы приехали в Пермь в пору, когда оттепель была еще на подъеме. Да и культурная жизнь в Перми была много активнее.

Мы по-прежнему жили в постоянных заботах о детях и тревогах за них; предпринимали многократные усилия по решению квартирной проблемы, возникавшей перед нами вновь и вновь в связи с женитьбами и разводами наших сыновей. Жизнь наша состояла также из напряженной работы, включавшей многочисленные командировки, служебные (Осины) и научные (мои), то в московские библиотеки, то на конференции в разные города страны, и осложненной (у меня) постоянной борьбой идеологических сил на факультете, на свой лад отражавшей перемены политического климата в стране. А еще были всевозможные бытовые проблемы от питания до ремонта, очень трудно решаемые в то время, потому что просто купить все необходимое было нереально. В моих письмах к родителям из Перми, как и в их письмах в Пермь, так же, как и в нашей переписке тех лет, когда мы были в Ижевске, неизменно присутствует обстоятельная информация о купленных или некупленных, но необходимых продуктах и вещах, потому что заботы такого рода преследовали нас неотступно. Были, кроме того, болезни (особенно у Оси, он после армии стал хроническим язвенником), больницы, поездки в санатории, были разные виды отдыха в разных местах, в том числе поездки на теплоходе по Каме и Волге (мои поездки с Аликом, Яником, Ритой Спивак). Поначалу мы с Осей больше ездили врозь: он – лечиться, я – с детьми. Когда дети подросли, мы старались ездить вместе, будто предчувствовали, что скоро доведется расстаться. Были вместе в Кисловодске, в Эссентуках, в Усть-Качке (курорт в Пермской области, на берегу Камы), на Черном море близ Пицунды (эта поездка оказалась для Оси роковой, с нее начались его последние болезни). И, конечно, важнейшей составляющей нашей жизни, как и всегда, была дружба. О наших друзьях я еще расскажу.

Ося получил в Перми квартиру, обрезанную со всех сторон. В ней было три комнаты, но площадь была искусственно уменьшена в нарушение проекта. Это был стандартный пятиэтажный дом, так называемая хрущевка с высотой комнат, установленной в 2,5 метра, но так как дом был ведомственный (он принадлежал какой-то организации лесников), его хозяева сочли возможным улучшить квартирные условия своим сотрудникам за счет других жильцов: увеличили высоту потолка на втором этаже за счет первого, где высота стала 2,39, и выкроили трехкомнатную квартиру из двухкомнатной секции. Эта убудочная квартира и досталась нам. Ося был очень огорчен; я его утешала, демонстрируя всем своим поведением, что с милым рай и в шалаше. Но было, конечно, очень тесно. Мне негде было поставить письменный стол, и вместо него Женечка, большой умелец, приладил к подоконнику доску, которую на ночь можно было убирать. В центральной комнате, где стоял обеденный стол, не хватало места для стульев. В общем, назвать эту квартиру удобной было трудно.

Но мы не унывали – некогда было. года через три мы поменяли нашу квартиру на гораздо большую (62 кв.м.), с высокими потолками, в большом деревянном доме, находившемся в самом центре города, рядом с театральным сквером, где был оперный театр. Помогла нам в этом Осина тетя Лиза. Она приехала пожить у нас, поскольку я собралась на три месяца в Москву для работы над докторской диссертацией. Наша квартира поразила Лизу своим убожеством, и она стала настаивать, чтобы Ося занялся обменом. Ее уговоры возымели действие, и Осе удалось организовать обмен.

В новой квартире был серьезный недостаток: она была на первом этаже, и большинство ее окон выходило прямо на улицу, где громыхал трамвай. Мы прожили в этой квартире семь лет, но я к этому громыханию так и не привыкла. А разместились мы поначалу очень свободно, хватало места и для работы, и для отдыха, и для многолюдных вечеринок, тем более что в доме была еще большая веранда. Но когда старшие сыновья привели в этот дом своих жен и у них появились дети, стало много теснее. Пришлось одной семье отдать детскую, другой отделить шкафами часть столовой, а Алика поместить в оставшейся ее части. Так мы прожили некоторое время, в тесноте, а подчас и в обиде.

А потом дом пошел под снос, на его месте стали строить новое здание городского банка, и нас расселили. Нам с Осей и Аликом предложили вначале однокомнатную квартиру, но в результате Осиных хлопот мы попали в трехкомнатную в стандартной малогабаритной девятиэтажке, Женя с Галей (тоже благодаря Осе) – в однокомнатную квартиру в Балатово (довольно далеко от нас районе), а Леня с Таней

в двадцатиметровую комнату в двухкомнатной квартире в Мотовилихе (другом районе города). Это было уже в начале семидесятых.

В Перми Алика отдали в садик, Ленечку в школу. Леня ехал в Пермь неохотно, ему было жаль расставаться с ижевскими друзьями, но Ося его уговорил, суля ему новые радости на новом месте. Женечка начал учиться на филологическом факультете университета. Вскоре его забрали в армию. Как раз в год нашего переезда отменили студенческую бронь, и Женечка попал в пограничные войска, в Мурманскую область. Ося хотел помочь ему остаться на время службы в Перми, но Женя категорически отказался от его вмешательства. Он был глубоко порядочен, не умел и не хотел ловчить. Жене пришлось служить целых три года, такой он был невезучий. Он присылал из армии частые письма, очень поэтичные, с юмором, за которым нередко чувствовалась тоска. Он скучал по дому, по друзьям, по университету. Проявлял заботу о старших братьях, давал советы Лене, шутил с Аликом. Служба была для него нелегкой, да и вообще он был создан не для этого. Хотя дедовщина тогда еще не достигла в армии своих вершин, Женя был слишком интеллигентен, чтобы его могли возлюбить армейские командиры и старожилы. Нас, родителей, он берег, умалчивая в письмах о трудных сторонах своей службы, но в них щедро проступали его натура и литературное дарование. Причем, не столько в его литературных опытах, которые он присылал на наш суд, сколько в самих его письмах, в умении видеть, чувствовать, передавать или скрывать свои впечатления, в стиле. Пусть прозвучит здесь его голос, тогда совсем еще юный.

Здравствуйте, предки! Я вылез из клетки и, как все детки, сижу и «ем конфетки». Короче – приехал я. Выглядит это так: винегрет из карликовых берез, дождя, сапог, сопок, погон и веснушек. ...Подробности в газетах, журнале «Советский пограничник», в будущих письмах. (Из письма от 16 августа 1964 года)

«Содаяв глупость, не кайся, а по возможности усугуби онаю». То, что я вообще попал в армию, – глупость, которую я усугубил, забравшись за Круг. И усугубив ея, много выиграл. В пограничных войсках гораздо лучше... Больше самостоятельности...

«Я и сам живу – первый сорт»... Автоматный ремень уже не режет плеча, портянки не разматываются на ходу, противогаз перестал уговаривать бросить курить, мишень и не пытается сбежать из прицела...

*...Солдат как таковой не может радоваться осени – грязь, вода кругом и в сапогах, – но уж очень она здесь красивая. Этакая унылая, подмягченно-холодная красавица прет из нее. Черт знает откуда.
(Из письма от 28 августа 1964 года)*

Мокрые, серые с черным, светло-зеленым, желтым, красным, синим валуны на сопках. А сопки зеленые и коричневые. Матовая фиолетовая черника, костяника светится изнутри желто-оранжевым, веточки медвежьих ягод топорщатся красными с едва заметным отсветом желтизны иголочками, а иногда иголки ярко-черные, алые листья неизвестного мне растения, белый с чуточкой желтизны и серый ягель мягким мехом – все это складывается в банальный, но дивно красивый ковер. (Из письма от 10 августа 1964 года)

Мы – болотные солдаты. В царстве комаров мы – оккупанты. Хлюпает вода в сапогах, хлюпает грязь под сапогами. Мы – болотные солдаты. Но это не страшно, черт возьми, если бы не хозяева болот... Комары – это пока самое страшное... (Из недатированного письма)

Сигарета дымит над лампой ночной.

А за черным квадратом окна

Темнота

на стекло

навалилась стеной.

Руки протягивает –

На!

– Скажи, темнота,

а куда ведешь?

Если руку твою возьму?

– Если руку мою без страха возьмешь

Уйдешь

с темнотою

во тьму.

– Скажи, дружище,

а что я найду,

Если уйду за тобой?

– Если за мною без страха уйдешь,

Счастье найдешь

и покой.

.....

К черту!

Счастье –

совсем не покой!

*Лучше, пожалуй, тоска...
Я никуда не пойду с тобой.
На, затянись.*

Пока.

*Погас фонаря выбитый глаз.
Где-то тихо скрипнула дверь.
Темнота вздохнула*

несколько раз,

*Как мягкий сказочный зверь.
(Из письма от 12 апр. 1965 г.)*

*Ты смеешься, когда тебе весело,
И умеешь смеяться, когда хочется плакать.
Ты плачешь, как всякая женщина,
Когда ей больно или когда чего-нибудь
очень хочется.*

*Никто не умеет понять Женщину,
когда она плачет.*

*Даже Тот, Кто Любит.
И я не хочу понимать тебя,
когда ты плачешь.*

*Я только хочу уметь сказать тебе
«Не надо...»*

когда ты плачешь.

*Я хочу, чтобы не было
твоих слез.*

*Я хочу всегда
дарить
тебе
радость.*

(Из письма от 12 апреля 1965 года)

*День рождения –
в окне решетка.*

*День
рождения?*

*Бетонный пол.
Грустно что-то.
Тоскливо что-то.
Глупый случай сюда привел.*

Где-то девочки,
где-то парни
Ходят парами
под магнитофон.
В твист срывается
стон гитарный,
«Ах, бокалов хрустальный звон...»
День рождения
так отпраздновать!
День рождения
на губе!
В нашей жизни
бывает разное.
Просто, друг,
не везет тебе.
Где-то девочки
брызжут улыбками,
пахнут
 волосы
 тропиками...
Ах, заманивают станом гибким.
... какие вы, мальчики, робкие.
Ах, решетка в окне –
не вынешь.
Сколько суток дали тебе?..
В день рождения
так и не выпьешь.
День рождения – на губе.
(Из письма от 25 сентября 1965 года)

Просишь:
«Пиши».
Ну, хоть что-нибудь.
Хоть бы
«жив, здоров, чего и тебе желаю».
Пытаюсь:
«... за окном собаки лают.
То они, наверное, провожают
Ночные наряды...»
Не получается.
Совсем. Ничего

не получается.
Нет слов.
Нет
ни одного слова.
Из всех слов осталось
ЛЮБЛЮ
Но ведь нельзя же написать письмо
из одного слова?
Или можно?
Снова пытаюсь,
осторожно, чтобы не «выдать военную тайну»,
рассказать тебе о своей пограничной жизни.

«... на снегу
луна,
на снегу
следы...»
Одна.
Только одна.
В целом мире
одна
за временем
ТЫ.
За временем,
за тысячами минут.
Вот они. –
У меня на руке,
в сердце у меня
эти часы идут,
текут,
подобные черной реке,
которую Лета зовут.
ГДЕ ТЫ?
Тут, знаешь, сопки какие!
Иней
смотри какой –
на березах
извилистых
белые розы...
ГДЕ ТЫ?
Уводит меня
лыжня
синяя
синяя...

*искры в снегу –
от холода
даже снег
в инее.
И тени от сапог бегут.
Тоже синие.*

Я не могу без тебя.

*Люблю!
Зову тебя
из ночи,
из снов.
Молчи!
Молю,
не надо
забытых снов.
Вот снова:
«... вьюга колет глаза
и нельзя,
понимаешь?
Нельзя
отвернуться
и
повернуть
назад.
Главное
я не хочу
отвернуться. Знаешь,
что бы там ни было
на пути,
нам обоим с тобою
надо пройти по этой лыжне.
До конца пройти по этой лыжне,
которую на границе называют контрольной.
(Из письма от 5 марта 1966 года)*

*Одуванчики облетают так: сперва взлетает стайка прозрачно-серых парашютиков и толчется в воздухе, как толкнутся комары жарким вечером. Потом они разлетаются вверх и в стороны, словно снег идет наоборот. Это я видел с вышки постовой.
(Из письма от мая 1966 года)*

А по утрам белые туманы загромождают проходы между соснами. Когда-то мой младший братишка Алька сказал: «Улица распух-

ла от тумана». Довольно-таки выразительно. Вот и здесь туманом пухнет лес.

(Из недатированного письма)

Мир, Земля все-таки живут не равнодушием и злобой, а Дружбой.

(Из письма от 13 сентября 1966 года)

Есть еще стихи, есть проза, есть незаконченный сценарий, оставленные Женей. В его письмах можно найти и стихи нравившихся ему поэтов. В письмах Гале из армии есть переписанные им для нее стихи Гумилева, Ахматовой, Рождественского, Лорки, Эдгара По, Новеллы Матвеевой. Он любил поэзию, читал много и писал много, учился писать, мечтал стать журналистом. Свою первую публикацию он увидел в 1962 году, еще школьником, в газете «Комсомолец Удмуртии». Это была заметка, посвященная 75-летию С.Я.Маршака. Потом он печатался в пермской периодике. Его заметили в Москве, предложили написать книжку о пермских строителях. Не успел.

Университет, в котором я начала работать, мне понравился сразу. В нем были серьезные научные силы, талантливые студенты. Были по-настоящему творческие люди, что меня особенно привлекло. Но с первых же дней я увидела и другое (глаз у меня уже был наметан): люди, как и везде, были очень разные, между ними постоянно шла скрытая борьба, не раз вырывавшаяся на поверхность. В ее основе лежала зависть бездарностей и доктринеров, уверенных, что указания сверху и есть истина в последней инстанции, к людям творческим, внутренне свободным, ищущим, сомневающимся. Первые, испытывавшие, как правило, дефицит популярности в преподавательском коллективе и любви со стороны студентов, боролись, по сути, за власть и влияние и вели себя агрессивно, выдавая свои атаки на вторых за идеологическую борьбу с марксистских позиций. Вторые же добивались «права на труд», возможности работать в согласии со своей совестью и научными убеждениями и, защищаясь от нападков первых или предпринимая контратаки, ссылались на те же авторитеты. Уже сама очевидность этого двоения внушала надежды, было куда меньше провинциальной трусости, стиль «чего изволите» вовсе не был господствующим, и оттого дышалось здесь много легче.

Конечно, не все и не всегда было просто, случались и сложные, неоднозначные ситуации. Но в общем схема, прикинутая мной, я думаю, недалеко от истины. Соотношение сил менялось от периода к

периоду, бывало порой очень трудно, но все же дежурная фраза «хороших людей всегда больше» верна, на мой взгляд, и для тех обстоятельств. Перипетии внутрифакультетской борьбы во многом зависели от нестабильности идеологической ситуации в стране, были моменты, когда борьба достигала большой остроты. Аналогичным образом обстояло дело и в большинстве других, особенно гуманитарных, учебных заведений – пермский филфак не составлял исключения. Но он принадлежал к числу тех учреждений, в которых было немало по-настоящему интеллигентных людей, так что даже когда «верные ленинцы», стимулируемые и поддерживаемые городскими и областными партийными властями, брали верх, настроение на факультете в целом, несмотря на весьма напряженную обстановку, оставалось демократическим.

Я в Перми сразу же оказалась занята сверх всякой меры. Бельский, видно, задетый тем, что я прошла на кафедру вопреки его воле, дал мне очень большую и крайне неудобную нагрузку, состоявшую из разномастных остатков от других. Она включала семь разных видов работы на разных отделениях и в разные смены. Было трудно мгновенно переключаться с одного на другое, подготовка ко всему этому множеству лекций и семинаров требовала много времени и усилий. К тому же Римма Васильевна Комина, заведующая кафедрой, поручила мне доклады на совете факультета и на методологическом семинаре, мотивируя тем, что я человек новый и должна показать себя коллективу. Пришлось показываться, а дети и дом страдали. В письмах друзьям, постоянно извиняясь за задержку ответа из-за большой занятости, я нередко рассказывала о своих буднях. Вот один из примеров – письмо Елене Александровне Миллиор.

Я должна была приняться за письмо вчера утром, но мне прислали на отзыв дипломную ... (она выдвинута на городской конкурс), и утро погубило для моих личных планов, а вечером я работала... Вернувшись из отпуска, я правила свою давнюю статью о Шиллере (она срочно пошла, пошел сборник ИМЛИ), на что ушло больше двух недель, а позавчера поставила последнюю точку в своей книжке о Зегерс (7 п.), собрав ее из статей и дописав почти треть общего объема... Приплюсуйте к книжке Алькино первоклассничество или, наоборот, к Алькиному первоклассничеству книжку, помножьте все это на осадочный ремонт, который мы сейчас переживаем, и Вам все станет ясно.

Первый класс – это вам не шуточки. Мне пришлось так организовать свое расписание, чтобы встречать, кормить его и следить за уроками, то есть занята я ежедневно с 4.45 в университете, до этого

утром работа за столом до 12, потом лихорадочная готовка обеда и все остальное. Уже обессиленная, я еду в университет, и можете себе представить, в каком состоянии приезжаю с занятий домой часов в 8, 9, или 10.... В общем, мы – и я и Ося – живем труднее, чем когда бы то ни было прежде, или, может быть, стало меньше сил. Нагрузка жизненная все время возрастает, и все тянешь.

А ремонт! Знаете ли Вы, что такое осадочный ремонт, да еще в таких комнатухах, где повернуться негде, не то что мебель перемогать?!.. Просто живу без пауз.

В том же письме я рассказала Елене Александровне, что и мама моя, и свекровь, и Инна уговаривали меня отказаться от моих научных устремлений ради детей и ради сохранения своего здоровья. Я писала, что допускаю справедливость их доводов, но что я «в упряжке» и высвободиться не могу и не умею. Через много лет Леня, став взрослым и укрепившись в своих взглядах на жизнь, упрекал меня в этом.

Наверное, не я одна была виновата, что у Лени в Перми возникли сложности в школе, появились не те приятели, но, конечно, моя занятость осложняла домашние проблемы. Не сразу прижился на новом месте и Женя, но когда он (не без скрытой, деликатной помощи папы) познакомился с девушками-старшекурсницами, составлявшими цвет факультета, Надей Гашевой и Мариной Лебедевой, очень живыми и талантливыми, он почувствовал себя увереннее. Они, как говорится, взяли над ним шефство, сумели его оценить и отнюдь не держали за несмышленища. В компании был еще Володя Иванов – их было, таким образом, четверо. С появлением в их среде Жени они, с его легкой руки, стали шуточно называть себя мушкетерами, причем Женечку именовали Д'Артаньяном. Замечу, кстати, что бабушка Мария Аркадьевна называла его Дон Кихотом, и не только за хужобу. В нем действительно было что-то романтическое, поэтичное. Он был особенный и при этом очень похож на отца. А веснушки были мои. Поэтичность натуры сочеталась в нем с удивительным умением делать руками самые разные вещи, чуть ли не все, что только можно придумать. Женя умел работать с деревом, с металлом, умел шить. Он мог сбить пол, сделать что-то из мебели, выстрогать из дерева какую-нибудь фигурку, выжечь на дереве картину, смастерить бусы из персиковых косточек или из металлической проволоки, сшить куртку или брюки. У него были, что называется, золотые руки. Леня тоже умел и умеет многое, но он отличался в этом смысле от Женечки, как плотник от столяра. Алик же вообще не имеет тяги к чему-нибудь в этом роде.

Что же до фразы бабушки Марии Аркадьевны: «Женечка – Дон Кихот», – то она продолжалась так: «Ленечка – жулик, а Алинька – мусик-пампусик». Это было сказано ласково, полушутливо, но при этом в какой-то мере отражало реальное положение вещей. Об Алике еще, в сущности, нечего было сказать, он был очень маленький и очень миленький, а характеры и склонности Жени и Лени уже просматривались. Правда, еще в Ижевске Алик заслужил репутацию философа, так как однажды утром, услышав, что на улице 0 градусов, заплакал, вопрошая сквозь слезы: «Как же я пойду в садик, если нет никакой погоды?» Он и в дальнейшем не утратил вкус к осмыслению окружающего мира. Женю не случайно еще в юношестве потянуло в журналистику, а Леню – в бизнес, что было небезопасным занятием в тогдашних условиях, казалось бесперспективным и служило источником постоянной моей тревоги. Леня тоже учился на филологическом, потянувшись туда за Женей, и даже хотел одно время поступить в аспирантуру, но, начав преподавать, быстро понял, что эта профессия не для него. Я думаю, однако, что учился он там не зря, хотя и не слишком усердствовал в учебе. Университет усилил его любовь к чтению, вкус к изобразительному искусству, дал ему общую образованность. Все это важно для бизнесмена. Алик же, когда подрос, обнаружил способности к математике, стал участвовать в юношеских математических олимпиадах и брать призовые места, что почему-то не помешало ему учиться в школе по этому предмету далеко не блестяще. Позже, впрочем, он тоже показал себя в душе гуманитарием: в Америке наряду с работой по основной специальности (компьютерному программированию) он стал заниматься переводами – и техническими, и художественными – и сделался, когда не стало Оси, главным моим советчиком в литературных делах.

В Перми Ося вначале занимал в Совнархозе должность начальника отдела, а затем стал одним из заместителей председателя этого учреждения, позднее названного Управлением материально-технического снабжения. Условия работы в этой области были очень тяжелыми. Ося знал ситуацию, знал свое дело, умел разговаривать с людьми, не обижая их, даже когда приходилось отказывать им в их просьбах. Он любил быть среди людей, любил и умел оперативно решать сложные рабочие задачи. Глубины понимания и острой сообразительности занимать ему было не надо. С ним очень считались. Там он проработал почти что до самой своей кончины в 1985 году.

Мой же служебный рост состоял в том, что я защитила в 1972 году докторскую диссертацию, через три года (через целых три!) получила утверждение, еще через два года сделалась профессором и

еще через какое-то время получила право руководить аспирантами, к чему я очень стремилась. Произошло это не столько благодаря обстоятельствам, в которых я находилась, сколько вопреки им. Меня тормозили на каждом этапе. Бельский делал все, что мог, чтобы я двигалась вперед не слишком быстро. В ВАКе моя работа проходила дважды через каждую ступень утверждения, хотя все было в порядке и все отзывы были положительные.

Замысел докторской диссертации о немецком романе XX века возник у меня еще в Ижевске (потом он, правда, существенно уточнился). Когда я сообщила о своих планах на кафедре в Перми, Римма Васильевна представила меня совету как кандидата на получение двухгодичного творческого отпуска с переводом на ставку старшего научного сотрудника. Такая практика появилась тогда в стране для подобных случаев. Но мне отпуск не дали, мотивировав отказ тем, что у меня мало публикаций по теме. Одновременно со мной о таком же отпуске просил Леонид Владимирович Сахарный, блестящий лингвист, работавший на кафедре русского языка (тоже еврей). Ему сказали, что у него много публикаций, и потому он сможет закончить работу и без отпуска. Пятый пункт в равной мере мешал и мне, и ему. Мы, надо сказать, не слишком расстроились, потому что не слишком надеялись на положительное решение этого вопроса, зная по опыту, на что мы могли рассчитывать. И он, и я справились с работой и без длительных отпусков, только это, конечно, было много труднее и делалось за счет семьи, за счет отдыха и здоровья. Но мне, во всяком случае (не знаю, как Лёне), было не впервой.

Женечка, вернувшись из армии, женился на Гале Шкляевой, своей подруге по Ижевску, с которой переписывался, служа на границе. Галя после школы поступила на геологический факультет Казанского университета. Там она успела выйти замуж, уйти от мужа и написать Жене обо всем этом. Женя сказал нам с Осей: «Я еду в Казань, я должен разобраться». Вскоре Галя приехала к нам, и они поженились. У них появился мальчик, Никита, биологическим отцом которого был Галин первый муж, но Женя записал ребенка на себя и считал его своим. Он дал ему имя лучшего своего ижевского друга. Галя с Женей звали ребенка Китом, Китулей, а я Никишей. Но их совместная жизнь продолжалась не слишком долго. Галя часто вела себя очень нервно. Может быть, сказывался ее недавний «зигзаг»? Может быть, все дело было в том, что они долго жили у нас? Может быть, сыграла роль разная закваска? Трудно сказать. Выйдя замуж в третий раз за хорошего человека, владевшего скромной дачей на берегу реки Чусовой, притока Камы, Галя развела там целое натуральное хозяйство. Было видно, что

она чувствует себя в сельских условиях более естественно, но при этом она не раз говорила мне, что по-настоящему любила только Женю. У меня сохранились с ней теплые отношения.

Женя после армии вернулся на дневное отделение факультета, но затем перешел на заочное и стал работать в милиции в отделе борьбы с малолетними преступниками под началом Володи Шейфера. Работа его увлекала. Он умел общаться с детьми и подростками. В свое время он неплохо помогал нам с Осей присматривать и за Леной и за Аликом. Еще в Ижевске, после десятого класса, летом, он работал в пионерском лагере руководителем кружка «Умелые руки» и подготовил с ребятами прекрасную выставку зверей, сделанных из природного материала (дерева, глины, и пр.). Из-за армии и работы он окончил университет только в 1972 году, защитив диплом на «отлично». Диплом он писал о раннем Маяковском под руководством Риты Соломоновны Спивак.

В том же году защитились, и тоже на «отлично», Леня и Таня, а я еще в феврале 1972-го защитила свою докторскую диссертацию. Так что тот год стал для нашей семьи годом удачных защит, праздничным годом, своего рода счастливой вершиной, после которой начался спад, приведший, хотя и не сразу, к катастрофическим последствиям. Мы далеко не сразу распознали истинную меру опасности.

Я с самого начала была недовольна тем, что Женя пошел в милицию; я боялась за него и сказала ему об этом. Он возразил: «Ты нашла себя в литературоведении, а я в этой работе». Но мои опасения оказались не напрасны. На его начальника поступила жалоба, что тот якобы применял к подросткам насилие. В это время как раз шла очередная кампания по наведению в милиции порядка. От Жени потребовали, чтобы он дал показания против Володи, пригрозив ему, что в случае отказа он сам пойдет под суд. Женя отверг это требование. Их с Володи судили вместе и вначале осудили условно, но кому-то этого показалось мало. Их судили повторно и послали «на химию». Женя работал там на стройке, что было ему не в новинку: он уже работал на строительстве и в армии, и в студенческом отряде. Через год он был дома, но за это время отношения его с Галей разладились.

Он развелся, женился вторично, на этот раз на Тане Овинцевой, живя с которой, почувствовал, что жизнь его определилась и что это хорошая жизнь, несмотря на материальные трудности. На пятом году их брака Таня подарила ему сына Антона; они с Яником почти ровесники, Антоша старше Яника всего на полтора месяца. В нынешнем году (1997) им обоим исполнилось по 18 лет. Из них Антоша уже 17 лет без отца. Женя погиб, когда ребенку был год и пять месяцев. Он

погиб, пытаясь подзаработать для семьи. После милиции и «химии» Женя стал работать в многотиражке строительного треста, получал там гроши и договорился о шабашке. Вместе с братом Тани Сергеем он подрядился протягивать какие-то полосы по облицовке нового девятиэтажного дома. Оборвалась неправильно закрепленная люлька, и оба погибли. Жене было только 34 года, Сергею – 24. Это случилось 2 июля 1980 года и стало началом конца нашей с Осей семьи. Через пять лет ушел и Ося от рака легких – не перенес потери сына. Мы остались троим: Леня, Алик и я.

Непросто было и с Леней. Он учился неровно, переходил из школы в школу. Поступил было в медицинский техникум, следуя примеру дедушки, но бросил техникум, вернулся в школу и затем поступил на филологический факультет университета, о чем я уже упоминала. Девятнадцати лет он женился на своей сокурснице Тане Яринской, а через год родился Максим. Брак Лени и Тани тоже оказался недолговечным. Через пять лет Леня уехал в Норильск, женился там вторично, появилась у нас внучка Наташенька, Леня с семьей вернулся «на материк», какое-то время они жили в Перми, потом переехали в Днепропетровск, но из-за сложностей с работой Леня, уже один, снова приехал в Пермь.

Мой лаконичный рассказ об этом времени может создать впечатление, что все тогда происходило быстро и легко. На самом же деле для нашей семьи это был поистине трагический период. Когда Леня собрался уезжать, мы еще не знали, что нам предстоит. У Лени накопились долги. У нас с Осей до того никогда не было сбережений, но тут впервые нам каким-то образом удалось отложить 2 000 рублей. Мы все их отдали Лене, да еще одолжили для него полстолько. И тут Ося попал в больницу с делами сердечными, как полагали вначале, но потом обнаружилось, что у него кроме того запущенный рак легких. Я срочно повезла его в Москву, в известную специализированную больницу на «Каширке». Денег не было, пришлось одалживать у друзей. Две недели до получения места в больнице мы прожили у Фиры, а потом еще месяц я жила там одна, вернее, ночевала, но далеко не каждую ночь – почти все время я проводила в больнице возле Оси. У Фиры я только готовила для него, он избегал больничной еды. Были люди, говорившие мне, что мои попытки спасти его напрасны, что ему было бы спокойнее ждать своей судьбы дома. Но я не хотела им верить. В Пермь я увезла с собой лекарства из московской больницы для продолжения курса химиотерапии, но в Перми они негодились, как и предсказывала мне московская медсестра, чем вызвала мое глубокое возмущение. Состояние Оси не позволило их применить. Алик летал в

Ташкент за каким-то непризнанным медициной снадобьем, и мы с безумной надеждой кололи его Осе. Но оно оказалось только одним из многих практически бесполезных средств. Впрочем, говорили, что мы с его помощью избавили Осю от мучительных болей. Кто знает? Может быть, и так. Я прожила вместе с Осей еще полтора месяца в отдельной палате пермской спецбольницы. Там он и скончался 21 марта 1985 года. Как раз в день рождения Максима. Максиму в тот день исполнилось 14 лет. Леня приезжал в Москву, когда мы с Осей были там; дважды он приезжал в Пермь – во второй раз уже на похороны отца. Мой брат Юра тоже приезжал в Пермь два раза.

На работу в Пермь Леня приехал почти через год. Тут он с началом перестройки открыл кафе «У камина», дела его, казалось, шли неплохо, кафе даже прославили в центральной печати, но местной милиции почему-то понадобилось Леню поприжать. Кажется, это была вспышка борьбы с только что родившимся частным капиталом, задевшая не только Леню. Его не оставляли в покое. Кафе пришлось закрыть, и Леня вместе со своей нынешней женой Тоней уехал в Москву, а через несколько лет – в Америку. Тут развернулись его способности бизнесмена, способности незаурядные, как стало ясно еще в Москве, и он познал и радости, и сложности этого рода деятельности, всегда связанной с риском. В кого бы это? Разве что в дедушку-лесоторговца? Но я не знаю, каким он был. На пятом году жизни в свободном мире Леня вернулся к медицине, окончив специальные курсы и открыв кабинет по проведению тестирования больных. Сейчас он доволен своим положением и сожалеет о том, что бросил когда-то медицинский техникум. Теперь, разумеется, поздно говорить об этом. А я очень рада, что он, пусть в относительно скромной роли, снова пришел к медицине, не бросая, впрочем, и других своих занятий. В Америке родились у Лени с Тоней Лизочка и Павлик (сейчас, в конце ноября 1997 года, когда я пишу эти строки, им соответственно 2 года и 11,5 месяцев и год и почти 8 месяцев).

Я пишу о делах детей коротко, не вдаваясь во многие подробности, потому что это уже их жизнь. Она была и есть, конечно, и наша: нам с Осей, а потом уже только мне все беды и злоключения детей доставались нелегко. Но это наши дети, прекрасные, в общем, дети – удивительно ли, что им трудно давалась жизнь? Легко ли было жить в той стране, имея независимый характер? Легко ли было самоутверждаться в обстановке монополистической системы и государственного антисемитизма, где нам полагалось осознавать себя людьми второго сорта? Мы приучили себя считаться с этой ситуацией, не претендовать на то, чего нам все равно не достичь, и находить удовлетворение в ра-

боте как таковой, по возможности не оглядываясь на начальство. Конечно, не обходилось без компромиссов. Но каково было мириться с этим детям? Если и мы во многом не укладывались в советскую систему, то дети просто не желали и не могли уложиться в нее. И потом ведь было так: кто из евреев успел устроиться на престижную должность прежде, продолжал, как правило, занимать ее. Но новых не брали или брали с большим скрипом, да и то очень редко, с соблюдением «процентной нормы», со всяческими предосторожностями, по дружбе, родству или по системе «я тебе, ты мне», включая нередко и взятки. Те же правила действовали и при поступлении в институт. В некоторые институты и на некоторые специальности евреев совсем или почти совсем не принимали. Во многих институтах существовали тайные списки, предлагавшиеся экзаменаторам для ориентации, кому нужно поставить проходной бал, а кому нет. Наши дети и не пытались поступать в московские вузы, хотя там жила бабушка, имевшая квартиру в центре.

Леня рано понял, что надо уезжать, но тогда его отъезд мог полностью подрубить основы относительного благополучия семьи, то есть лишит работы и Осю, и меня. А ведь были еще Женя и Алик со своими проблемами.

Когда об отъезде стал думать Алик, границы для евреев открыли, он смог через Италию добраться до США, а потом вызвать и нас. Я далеко не сразу поняла его правоту, долго его отговаривала, приводя всевозможные доводы, вплоть до кажущихся мне теперь просто смехотворными. Но Алик проявил в этом вопросе удивившую меня настойчивость. «Кто-то должен быть первым, – сказал он, – я всех вас вытащу вслед за собой». Так оно и получилось. Только Любе, как русской, не разрешили приехать, и это стало настоящей драмой и для нее и для Яника.

Но вернусь к нашей жизни в Перми.

Алик учился в английской школе, что помогло ему потом быстро адаптироваться в Америке. Он поступил на математический факультет университета, после первого курса перешел на экономический, благополучно окончил его, но не забыл своих математических привязанностей и стал работать программистом. Женился, еще будучи студентом, на Любе Прохоркиной, работавшей тогда внештатным корреспондентом местного телевидения, хотя она и не имела специального образования, рано стал отцом. Пока Леня был на Севере, они жили в его квартире, а потом переехали к нам. Через пять лет после женитьбы Алик и Люба расстались: я думаю, обоим не хватало еще семейного сознания, не умели они считаться друг с другом.

Алик тоже имел неприятности на национальной почве: он ударил какого-то сослуживца в ответ на оскорбление его национального достоинства, а тот подал на Алика в суд. Суд состоялся, но закончился отказом истца от своих претензий, поскольку Алик, по совету адвоката, сам подал на него в суд. Все обошлось для Алика благополучно, но волнений нам с Осей хватило. В 1985 году в Москве, во время международного фестиваля молодежи, Алик был задержан милицией за то, что вступил в беседу с членами американской делегации. Так что и у него были неприятные встречи с властями. В конце восьмидесятых Алик поступил в очную аспирантуру Московского областного пединститута. Проучившись там около двух лет, он бросил аспирантуру ради эмиграции – в России он не видел для себя перспектив. Бизнес по купле-продаже чего угодно, все шире распространявшийся в России, его не привлекал. К тому же Фира сказала ему однажды: «Что ты здесь делаешь? Почему ты не уезжаешь?». Эти слова подтолкнули его к практическим действиям, тем более что эмиграция евреев из Москвы приобрела в то время широкий характер. В Перми он об отъезде не думал – там этот процесс развивался много медленнее. Но когда он принял решение об отъезде, мы в Перми, естественно, стали активно обсуждать эту проблему. Меня очень пугала ожидавшая Алика неизвестность, отсутствие у нас американских родственников, которые могли бы помочь ему там на первых порах. Смущал меня и вопрос, который я задала Алику в присутствии его друга Алеши Лужбина, его товарища по школе и выпускника нашего факультета, ставшего журналистом: «Неужели ты будешь работать на частных хозяев?» Алик и Алеша дружно и долго смеялись над моей отсталостью. А моя подруга Рита Спивак, боясь, что я сразу же последую за Аликом и не понимая его мотивов, пыталась его устыдить стандартным упреком, что он, якобы, хочет поменять российскую духовность на американскую сытость. Теперь она, конечно, думает об этом совсем по-другому.

Несколько слов о Любе. Их с Аликом развод проходил очень бурно, в ссорах и столкновениях из-за ребенка; наши с Осей отношения с Любой, до того вполне нормальные, чуть было не оборвались насовсем. Когда Алик уехал в московскую аспирантуру, мои контакты с Любой возобновились (Оси уже не было), а после отъезда наших сыновей (Алика и Яника) за рубеж она стала мне очень близка. Мы вместе звонили Алику и Янику в Австрию, потом в Италию, потом в Америку, вместе ждали писем от них.

В 1990 году я была на международном семинаре германистов в Веймаре. Он длился три недели. Это было замечательно. У меня было множество интересных впечатлений и от самого семинара, и от Веймара – города Гете, Шиллера, Листа, и от поездок по другим местам

Восточной Германии (семинар проводился еще до воссоединения страны). Но на обратном пути, в Берлине, я умудрилась подставить ногу под машину и еще две недели провела в немецкой больнице. Дома я долго лечилась, долго не могла ходить. Все это время Люба была со мной, она переселилась ко мне и ухаживала за мной преданно и умело. Я узнала ее как человека очень верного, отзывчивого, внимательного, и все ее недостатки, о которых я прекрасно знала, отступили в моем восприятии перед этими ее бесспорными и не столь уж частыми достоинствами. Разговаривать с ней мне всегда было легко, ее интересовали многие вопросы истории искусства и духовной культуры. Она умеет многое делать руками – шить, лепить, рисовать, и делает все это хорошо, с большим вкусом. При этом она не способна служить от сих и до сих, да еще под чьим-то началом, не умеет работать долго на одном месте. Учиться – тоже. Поступила в институт культуры – бросила, поступила на заочное отделение филологического факультета университета – бросила. У Любы душа вольного художника, она никогда не любила быть связанной кем-то и чем-то, а это плохо сочетается с реальными условиями нашего быта и бытия. У нее по той же причине нет и никогда не было денег, что никак не соответствует нормам жизни в современном мире.

В Перми, на филологическом факультете университета, учились также Боря и Юра Чарные, дети моей кузины Жени, о которой я уже упоминала, и ее мужа Мары Чарного, которого я знала еще по школе, а Ося – по Запорожскому механическому институту. На старших курсах они учились вместе. На Украине, где жили Чарные, их дети не надеялись поступить в институт из-за того же пятого пункта. Боря – человек очень способный, специализировался у Леонида Владимировича Сахарного, учился прекрасно, защитил диссертацию, стал заведовать кафедрой в пединституте и активно писать и печататься по проблемам психологии и педагогики. Юра тоже учился вполне прилично. Но семью постигла страшная трагедия. У Юры был брат-близнец Дима, очень добрый, способный, воспитанный мальчик. Все шло у него хорошо до окончания школы, когда он вдруг заболел шизофренией. Несмотря на титанические усилия родителей, делавших все возможное и невозможное, чтобы вылечить сына, Дима погиб, покончив с собой. С Юрой уже после окончания университета случилось то же самое – его подстерегла та же болезнь, мать и отец так же отчаянно боролись за его жизнь и здоровье, но его настиг тот же конец. В 1996 году умер Мара, и Женя, оставшись одна, переехала из Запорожья в Пермь, чтобы быть рядом с Борей. Женя была очень красивая, добрая, жизнерадостная, смешливая, на редкость работоспособная. Она заочно окончила юридический факультет и многие годы работала адвокатом,

пользуясь большой популярностью у клиентов и уважением у коллег. Женя – человек очень родственный и контактный, у нее всегда было множество друзей, но ей выпала на долю горькая, одинокая старость. Боря и его жена Нина к ней очень внимательны и стараются, как только могут, скрасить ее пермское существование, но она тоскует по ушедшим, по местам, где прошла почти вся ее жизнь, по оставшимся там дорогим могилам, по запорожским друзьям, общение с которыми въеве ей теперь стало не столь доступным.

Далеко не последней стороной нашей жизни в Перми, как то было и в Москве, и в Кургане, и в Запорожье, и в Ижевске, были отношения с друзьями, которых мы и здесь приобрели немало. Пристрастные обсуждения ситуации в стране, в университете, на факультете, не говоря о наших личных проблемах, выработка стратегии и тактики поведения в меняющихся обстоятельствах, дискуссии вокруг разных проблем социально-политического, философского и эстетического характера были главным содержанием наших частых встреч. Мы не тешили иллюзиями, говорили откровенно, спорили и во всем стремились разобраться до конца. Наши сборища были теплыми, доверительными, нередко веселыми, часто взволнованными, на них царила атмосфера взаимного понимания с полуслова, звучали остроты, песни Галича, Окуджавы, Высоцкого, Визбора, стихи поэтов Серебряного века и поэтов-шестидесятников, а порой и собственные стихи, к нам попадали произведения самиздата. Словом, это были те самые встречи «на кухне», о которых так много писали как о важнейшей примете быта советской интеллигенции в шестидесятые годы. Они очень помогали жить. А еще мы пели, танцевали, играли в разные интеллектуальные игры. Чаще всего собирались у Кертманов или у нас: у них квартира была самая большая (они жили в доме научных работников), и у нас, особенно, когда мы перебрались в деревянный дом, тоже не маленькая. Дом у нас, как и у них, был открытый и для наших друзей, и для разновозрастных друзей наших разновозрастных детей. Собирались и у Спиваков, и у Смириных, и у Грузбергов. Нередко в этих сборищах участвовали разные поколения.

Пока мы с Осей были вместе, мы держались как молодые – много гуляли, танцевали, пели; Ося знал бесконечное множество анекдотов, сочинял пародии, «ашипки» (была такая юмористическая рубрика в «Литературной газете»), стихи «на случай», поздравления друзьям в смешных стихах. Вот что написал Ося, когда Женя демобилизовался и вернулся, наконец, домой:

В нашей жизни перманентны
Поворотные моменты.

Так с момента поворотного
Мы избавились от ротного
И теперь не страшен нам
Сам придира старшина.
От него мы улизнули
Нас на днях демобилизнули,
Я ужасно обрадел
И гуляю в бороде.
Демонстрирую я Машке
Пограничные замашки.
Не скрываю и от Нади,
Что пришлось бывать в наряде.
Я теперь совсем раскованный,
Вовсе де-мо-би-лизованный.

«Ашипки» выглядели, например, так:

Эстрадостанкино – популярная сцена
Антрактир – буфет в театре
Абажур – большой любитель кого-либо, чего либо
Абордаж (истор.) – принудительное сбривание бород
Заявление (театр.) – часть пьесы, исполняемая за кулисами
Полушубок – дубленка с незаконченным образованием
Увернисам, реатниматор, трепортаж...

и т.д., и т.п.

Такого рода «ашипки» писались целыми простынями на всяческих скучных и ненужных собраниях, они были для Оси, вероятно, своего рода самозащитой в подобных случаях.

А вот поздравительное стихотворение, адресованное Боре Черному, учившемуся тогда в аспирантуре, по случаю его дня рождения, накануне которого он сломал ногу:

Для мудреца телесны муки
Ничто. И сирый, и нагой,
Он вертит колесо науки
И забинтованной ногой.

Или поздравление Л.Е.Кертману, склонному к полноте, сопроводившее наш подарок ему ко дню рождения. В тот раз это были напольные часы:

Чем дальше в лес,
Тем больше вес.

Слово *вес* имело в этом контексте двойной смысл: авторитет Кертмана как ученого был очень высок и продолжал расти; его комплекция при среднем росте тоже была довольно солидной.

Стишата такого рода Ося сочинял во множестве, очень легко. Они украшали многие наши дружеские собрания. Лев Ефимович, Сарра, Рита Спивак, Изя Смирин, Наташа Петрова (о них я еще скажу) тоже были горазды в подобном творчестве, а Лев Ефимович был автором и серьезных поэтических произведений. Привожу здесь его шутивное четверостишие, которым он ответил Осе:

Я не знаю, стар ли я, –
Квадратура круга,
Обожаю Ария –
Друга и супруга.

А вот Наташино поздравление Осе, отражающее байроновские мотивы:

Вот он стоит во всей своей красе,
Глаза темны, как ночь его страны,
Сегодня все слова и песни все
Ему лишь одному посвящены.

Псалтырю наш господь воспет,
Где взять слова, чтоб спеть вослед?

На улицах родной его Москвы
Немало стройных юношей найдется,
Чьи волосы пока еще черны,
И черный ус покруче вьется

Но что самсоновы власы,
Когда ТАКИЕ есть УСЫ!

Прибавить луч иль тень чуть-чуть отнять
И будет уж совсем не та картина.
Где слабому перу уменья взять,
Чтоб описать все истинно и чинно?

Познаний кладезь, остроумья свет,
Галантность – вот гамлетовский портрет!
(отвечайте поскорей,
а Шекспир, он не ... ?)

Пусть дни идут, и время пусть творит
Средь нас свои обходные маневры.
Так что ж, нам всем учиться предстоит
Счастливым быть на разные манеры.

Душа, пребудь в печали высока.
Скорей, певец, вот арфа золотая,
Играй свое, пусть времени река,
Течет, нас не неся, но обтекая.

Лев Ефимович Кертман, его жена Сарра Яковлевна Фрадкина и Римма Васильевна Комина, с которыми я познакомилась еще до переезда в Пермь, были первой нашей дружеской опорой на новом месте. Со Львом и Саррой нас сближала общность мировосприятия и судьбы. Они, как и я, были жертвами борьбы с космополитизмом и приехали в Пермь с Украины. Родились они в Киеве, там учились, оттуда Лев ушел в армию, а Сарра эвакуировалась, туда они вернулись после войны, там стали кандидатами наук, начали преподавать в университете, но вскоре были обвинены в космополитизме, потеряли работу и были вынуждены уехать. Лев занимался всеобщей историей, он был крупным ученым в этой области, широко известным в стране, а Сарра читала курс русской советской литературы. Оба были очень знающими и увлеченными специалистами, авторами многих печатных работ, блестящими преподавателями и лекторами, хотя и каждый в своем роде. Лекции Сарры отличались насыщенностью информацией, публицистическим пафосом и свободным, обильным цитированием современной поэзии; лекции Льва были размышлениями вслух, содержащими щедро представленные исторические факты, теоретические выкладки и личные соображения обо всем, о чем шла речь. Для него история была историей не только человеческих множеств, но и человеческих индивидуальностей, и это вносило эмоциональный момент в его размышления, устные или письменные, и делало их особенно привлекательными. Лев завершил свой путь ученого двумя фундаментальными трудами – один был посвящен теории и истории культуры Западной Европы, Америки и Австралии, другой – представителям трех поколе-

ний семьи Чемберленов, стоявшим в разное время у руля политики Англии.

Лев Ефимович Кертман был, вместе с тем, ребе своего рода, охотно дававший советы в самых разных ситуациях. Он удивительно умел слушать, вникая в проблемы другого, и научные, и житейские; советы его, как правило, были конструктивными и учитывали ситуацию момента. Нередко помогал он и практически, используя свой авторитет. Я ему многим обязана. Сарра тоже умела слушать и помогать, мне есть за что ее благодарить. Оба они помогали нам в трудных домашних ситуациях, а мне – и в решении ряда проблем, связанных с моей работой. Сарра, например, подарила мне название моей книги «От Фауста до наших дней», помогала мне в редактировании некоторых моих рукописей, разговоры слевой нередко очень помогли в углублении собственной концепции. Оба они были достаточно избирательны в своих симпатиях и, как правило, держали некоторую дистанцию. Они весьма щепетильно относились к своему престижу и знали себе цену. Лев был бессменным завкафедрой, любимым и почитаемым своими коллегами и учениками, а на его кафедре все были таковыми. Он умело ладил с университетским начальством, решая вопросы разного рода, никогда не поступался при этом своим достоинством, но всегда считался с обстоятельствами, проявляя порой большую дипломатичность. Ведь иначе ему вряд ли удалось бы что-нибудь решить, особенно кадровые вопросы, вряд ли он мог бы, например, брать евреев в аспирантуру или готовить их к докторской защите.

Римма Васильевна выросла на Урале, училась в МГУ, работала там какое-то время, а потом приехала в Пермь вместе с мужем Владимиром Васильевичем Воловинским. Была она женщиной острого ума и независимого характера, творческой, яркой. Разговаривать с ней было интересно, но не просто. Мысли собеседника пробуждали в ней зачастую дух оппонирования, она сразу же выдвигала контрдоводы, подчас не столько действительно возражая, сколько как бы проигрывая возможные возражения. Аудиторией она владела абсолютно, студенты ее чуть ли не боготворили. Муж шутливо называл ее королевой форумулировок. Пятый пункт был у нее в порядке, но путь ее тоже оказался тернистым. Римма Васильевна работала радостно, с неистощимой энергией, но когда оттепели пришел конец, ее свободный полет вдруг натолкнулся на глухую стену, и она больно ударилась об нее. Позже я расскажу об этом подробнее.

Хочу также вспомнить Екатерину Осиповну Преображенскую, заведующую кафедрой немецкого языка, читавшую курсы и по кафедре зарубежной литературы. Она была намного старше нас, но бывала в

нашей компании. Мы считали ее одной из «наших». Человек большой культуры, она являла собой пример для всех нас во многих отношениях. Она происходила из дворянской семьи, жила прежде в Ленинграде и сохранила в себе черты аристократической интеллигентности, предполагавшей деликатность и уважение к людям. Ей тоже пришлось пережить немало: в тридцатых годах она была репрессирована, муж ее умер в заключении. Работалось ей с Бельским далеко не всегда легко. Но она любила литературу, любила студентов и старалась пренебрегать его придирками. Екатерина Осиповна всегда очень сопереживала тем, кто оказывался мишенью нападок борцов за чистоту коммунистической идеологии. Когда такой мишенью сделалась Рита Спивак, о чем я еще расскажу, она, встретив ее на факультете, обратилась к ней со словами: «Разрешите крепко пожать вашу руку».

«За что?» – спросила Рита.

«За ваши мучения», – был ответ.

Рита и Лева Спивак были моложе нас на 16 лет. Но это несколько не чувствовалось – мы ведь тоже были еще молодыми, во всяком случае, ощущали себя таковыми. Они были пермяками, если не по рождению, то, во всяком случае, со школьных лет. Рита с родителями попала в Пермь в эвакуацию. Оба работают в университете: Рита – на кафедре русской литературы, Лева – на кафедре физики, работают азартно и как преподаватели, и как исследователи. Мы с Ритой оказались одной породы – интерес к науке был у нас органическим, мы способны были говорить о наших темах без конца, что со стороны, должно быть, выглядело порядочным занудством. Риту вдохновлял особый интерес к философско-поэтическому содержанию литературы и к связанным с этим поэтическим формам. Недаром свое докторское исследование она посвятила проблеме философского метажанра и философской поэзии начала XX века – Бунину, Блоку, Маяковскому. Что же касается научных интересов Левы, то я в них ничего не понимаю и потому не могу рассказать о них. (Брак Риты и Лёвы не сохранился, так как у них другие семьи.)

Одессит Саша Грузберг, у которого пятый пункт тоже подкачал, приехал в Пермь учиться, женился на местной девушке Люсе Обориной и стал пермяком. Оба лингвисты. Он работает в пединституте, она – в университете. Саша – человек очень добрый и добродушный, страстный книголюб, его домашняя библиотека, я думаю, в Перми вне конкуренции, и мы частенько прибегали к его помощи, когда нам нужны были книги, которых нельзя было обнаружить в университетской или областной библиотеке. Он очень увлекался и увлекается научной фантастикой на английском языке, и когда в России появи-

лись частные издательства, он занялся художественными переводами с большой пользой для читателей и для своей семьи. Мой муж тоже этим увлекался и, достигнув пенсионного возраста, говорил мне, что охотно бросил бы свою работу по материальному снабжению и стал бы переводить, если бы это давало постоянный и достаточный заработок. Но он не дожил до времени, когда это стало возможным.

Люся Грузберг – большая умница, отличный лектор, добрый товарищ, с большим чувством юмора, прирожденная оптимистка. Редко я видела ее без улыбки, смеялась она часто и охотно. Ей довелось поехать в качестве преподавателя русского языка по многим странам мира. Мы, по сути невыездные, слушали ее рассказы с большим интересом. Не будучи еврейкой, она была как бы нашей посланницей в странах, с которыми большинство из нас в то время могли познакомиться только заочно.

В Перми после эвакуации осталась моя близкая школьная подруга Таня Филановская, что было для меня большим подарком судьбы. Мы знали друг друга с детства, а это крепкая связь. До выхода на пенсию Таня работала в качестве инженера на крупном, известном в стране, военном заводе «Мотовилиха». Главное качество Тани – отзывчивость. Своей семьи у нее не было, но она не страдала от одиночества и никогда не скучала. Таня всегда находила, кому помогать. На лето она обычно ездила в Москву к горячо любимому брату, чтобы помочь по дому его жене и племянникам. Зимой она помогала соседям, особенно тем, кто вынужден был оставлять детей без присмотра или болел. Часто она приезжала ко мне и всегда рвалась помочь в чем-нибудь по дому. Она была хорошим инженером-конструктором, но помогать другим было едва ли не главным ее человеческим предназначением. Таня бывала у нас на всех наших семейных праздниках, но не очень жаловала нашу компанию – университетский люд казался ей снобистским, особенно Сарра Фрадкина. При нашей профессии действительно трудно уберечь себя от тщеславия, и понимание этого мешало Тани по достоинству оценить моих коллег. Однако когда Сарра овдовела и состарилась, когда она стала болеть и ей стало трудно справляться со своим сложным домом, с непростыми проблемами с дочерью и больным внуком, Таня стала ее подругой и помощницей, и Сарра писала мне, что Таня по-новому раскрылась для нее.

А еще мы дружили с Лней и Таней Сахарными, приехавшими в Пермь из Свердловска, со Смиринными, Изей и Идой, перебравшимися в Пермь из Алма-Аты. Леня был одаренный лингвист и разносторонне талантливый человек, очень контактный и доброжелательный. Он притягивал студентов, как магнит, они просто роились вокруг него, вы-

ступал ли он перед ними в роли преподавателя или же в роли руководителя самодеятельности. Он пел, сочинял юмористические тексты, режиссировал студенческие спектакли.

Для Лени Сахарного язык был не безличной структурой, а живым языком людей, подобно тому как для Льва Кертмана история была живой историей «человеков». Леню интересовали вопросы психолингвистики, и он был очень инициативен в своих теоретических и экспериментальных исследованиях. Он придумывал и проводил разного рода анкетирования и другие эксперименты, втягивая в эту работу студентов. У него учился на первом курсе наш Леня, через его научную школу прошел Боря Чарный. Пожалуй, по числу учеников, не только «курсовиков» и дипломников, но и тех, кто стал под его руководством кандидатом или доктором наук, он был среди нас рекордсменом. Несколько позже вровень с ним встал в этом отношении его друг, коллега и тезка Леонид Николаевич Мурзин. Борин брат, Юра Чарный, учился у Мурзина, его статья об иронии напечатана в научном сборнике кафедры, возглавлявшейся Мурзиным.

У Лени Сахарного была еще одна примечательная особенность: он был человек широкий в отношениях с людьми, умел ладить с людьми очень разными и мог пойти на компромисс, не отказываясь от своего понимания вещей. В нем не было той немудрой задиристости, которая (каюсь!) была свойственна мне, формулировавшей иной раз свою точку зрения недипломатически резко, не было и той наивности, что была присуща Мурзину, человеку по-детски чистому и нередко высказывавшемуся с излишней прямолинейностью.

Проработав в Перми немало лет, Леня Сахарный развелся с женой, женился снова на своей коллеге-ленинградке и переехал в северную столицу. Хотя он был уже к тому времени доктором наук, автором многих печатных трудов и руководителем многих аспирантов, пятый пункт не давал ему устроиться на соответствующую его квалификации работу, и только в годы перестройки он смог стать штатным профессором лингвистической кафедры Санкт-Петербургского университета. Жизнь его оборвалась обидно рано, в самом разгаре его исследовательской и преподавательской деятельности, когда он был полон новых творческих замыслов. Незадолго до своей кончины он приезжал в Нью-Йорк, мы с ним несколько раз подолгу говорили по телефону. Он собирался, как он делал это много лет подряд, поехать в Пермь на время государственных экзаменов в качестве председателя ГЭК. Пермьки всегда его звали, потому что любили, да и трудно было себе представить лучшего председателя ГЭК. Но недели через две после его отъезда из Америки я вдруг узнала из телефонного разговора с Саррой Яко-

влевой Фрадкиной, что, вернувшись домой, он попал на операционный стол по поводу вдруг обнаруженной опухоли мозга и не перенес операцию. Я думаю, он не перенес потери жены, умершей от инфаркта примерно за год до того.

Изя Смирин был едва ли не первым в стране (и по времени, и по уровню) специалистом по творчеству Бабеля, заядлым библиофилом, превосходным лектором, «отъявленным пропагандистом», как выразилась, характеризуя его, Рита Спивак. До Перми он работал в Алма-Ате, откуда его фактически уволили, не проведя по очередному конкурсу в связи с кампанией по укреплению алма-атинских учебных заведений кадрами коренной национальности. Работая в Пермском пединституте, Изя опубликовал целую серию интереснейших статей о Бабеле, высветил его многообразные связи с русской и еврейской классикой. Они читались как части большой книги о писателе, которую автор так и не успел собрать. Ему мешала, быть может, его страсть к просветительству – уж очень охотно и часто читал он лекции по русской литературе перед разными аудиториями Перми и Пермской области. Безотказно, всегда с полной готовностью он встречался с молодыми литераторами и нелитераторами, делился своими знаниями и размышлениями, пропагандировал книги, живопись. Его любили. Любили многие. Когда друзья и ученики Израиля Абрамовича пришли проводить его в последний путь, их оказалось намного больше, чем можно было предположить. Он был несколько старше шестидесяти, то есть совсем не стар по нынешним меркам, но не перенес операцию, как и Леонид Владимирович Сахарный. Похоже, оба они стали жертвами уровня возможностей российской медицины постперестроечного периода.

Близким другом нашей семьи была Наташа Петрова, в прошлом моя студентка, почти ровесница и друг нашего Жени. Ныне она доцент Пермского педагогического университета, «в девичестве» – пединститута. Шла она к этому очень трудно. Знающий, увлеченный, способный литературовед, она, будучи наполовину еврейкой, не смогла устроиться на преподавательскую работу в Перми, и, оставив мать и маленького сына, уехала работать в далекое от Перми Кемерово. Она попала туда по приглашению Кемеровского университета, филологи которого, услышав ее выступление на научной конференции в Донецке, высоко оценили ее возможности. Проработав там год или два, она вернулась в Пермь, уже имея стаж вузовского преподавания. Но и на сей раз ей, по-видимому, не удалось бы устроиться в Пермском пединституте, если бы мой муж не помог ей в этом, используя свое служебное положение.

Я подружилась также с бывшими нашими студентами Татьяной Тихоновец, ныне доцентом Института культуры и театральным критиком, и ее мужем Володей Винниченко, поэтом. С ними я особенно сблизилась уже в годы перестройки, когда мы вместе остро переживали все события в Белом доме и вокруг него, не отходили от телеэкрана и тут же обменивались впечатлениями, въяве или по телефону.

Я назвала здесь тех, с кем мы встречались домами, делились едва ли не всеми нашими проблемами, кому доверяли полностью, всегда или на определенных этапах. Были у нас и другие друзья и единомышленники, может быть не такие близкие, но всё же. Среди них уже упомянутый выше Леонид Николаевич Мурзин; его коллега по кафедре Соломон Юрьевич Аддиванкин, талантливый лингвист, прославившись также как галантный красавец мужчина, знаток поэзии, сам пишущий стихи, блестящий лектор и автор учебника по столь трудному для студентов предмету, как старославянский язык; Нина Евгеньевна Васильева, очень талантливый литератор, прекрасно владеющий пером, и к тому же человек отзывчивый, способный решать всякие сложные проблемы с врачами, лекарствами и пр., отнюдь не только для себя, а и для других. Для многих ей доводилось играть роль «скорой помощи» своего рода, и она делала это с дружеской готовностью и часто успешно. Я сердечно дружила со своими бывшими студентами, а позже аспирантами – Светланой Краснобаевой и Лидией Жереховой. Тепло общалась я также с Ниной Горлановой и ее мужем Славой Букурор, ставшими писателями. Нина в свое время училась в одной группе с Женечкой и тем была мне особенно близка, а Слава очень помог мне перед отъездом решить проблему с Осиной могилой.

Еще когда мы с Аликом перед самым его отъездом были на кладбище, мы заметили, что могила осела с одной стороны под тяжестью гранитного камня, на котором была высечена надпись. Мы тогда же договорились с кладбищенской службой о приведении могилы в порядок. Но пока они это сделали, прошло три года, как раз те самые три года, которые я прождала, прежде чем получила возможность выехать в США. Бригадир требовал от меня рельсы, бетон, людей. Я все это доставала и доставляла на кладбище через друзей, а он использовал материал для других клиентов. Дважды я приводила на кладбище целую бригаду, которую набирала из коллег и бывших своих студентов. Лева Спивак был главным моим помощником. Слава тоже был среди них. Задача в конце концов была решена при помощи бутылки водки, врученной бригадиру, но не мной, а Таней Тихоновец, поскольку бригадир этот заявил накануне, что терпеть не может евреев, осо-

бенно тех, кто ходит к нему каждый день. Пришлось послать ему водку с чистокровной русской красавицей. И такое было.

Друзья и близкие мне по духу коллеги были у меня и за пределами Перми. Из числа моих бывших сокурсников я всю жизнь дружила с Фирой Зинде (в последнем замужестве Медниковой), общалась и переписывалась с Гришей Слободкиным, преподававшим зарубежную литературу в Ворошиловградском, потом в Свердловском, а потом во Владимирском пединституте. В Москве я часто встречалась с моими подругами по ИФЛИ Лией Кауфман и Инной Бернштейн, с Сергеем Васильевичем Тураевым – сотрудником ИМЛИ, Джульеттой Леоновной Чавчанидзе – ныне профессором МГУ. Лев Копелев познакомил меня с известным критиком Тamarой Лазаревной Мотылевой, и она во многом помогала мне. Старший научный сотрудник ИМЛИ Илья Моисеевич Фрадкин был моим консультантом по теме докторской диссертации, мы стали друзьями, я многим ему обязана. Альберт Викторович (Алик) Карельский – профессор-германист МГУ – был тоже в числе моих добрых друзей. Мы познакомилась у Фиры, когда он был аспирантом и готовился защищать диссертацию по литературе ФРГ. Я слушала его замечательные лекции по немецкому романтизму, выступала в его поддержку на его блестящей докторской защите. Мы переписывались, всегда встречались, когда я бывала в Москве. У Резо Каралашвили я была оппонентом на защите докторской диссертации по творчеству Германа Гессе, работы отличной, удивительно глубокой и тонкой. Защита состоялась в Тбилиси. Они были друзьями, Алик Карельский и Резо Каралашвили. Оба были заметно моложе меня и оба скоропостижно скончались в молодом возрасте – Алик, едва перевалив за пятьдесят, а Резо – не достигнув этого рубежа. Я теперь время от времени обмениваюсь письмами с его вдовой, замечательной женщиной, Наной Шенгеляя, тоже филологом. Я дорожу дружбой с Марком Соколянским, профессором зарубежной литературы, работавшим в Одесском университете. Он, как и я, эмигрировал из Союза. Ныне он живет в Германии, в Любеке, мы переписываемся. У меня установились очень хорошие отношения с историками и теоретиками литературы Натаном Тамарченко, Марком Бенгом, Николаем Рымарем. Были у меня коллеги и корреспонденты во многих городах Советского Союза. Обо всех не расскажешь. Эти связи очень обогащали духовно и профессионально.

Среди моих друзей были Эмилия Михайловна Дынина (мы с ней дружим и поныне) и ее муж Борис Осипович Корман, крупный историк и теоретик литературы, работавший в последние годы своей не очень долгой жизни в Ижевске и создавший научную школу теории

автора. Он скончался на два года раньше, чем Ося, при обстоятельствах, достойных быть упомянутыми. Начать придется издалека.

В Ижевск Борис Осипович попал, уже будучи автором многих работ и ученым широкой известности. Студенты разных вузов учились по его книгам, а он работал в «глубинке», в Борисоглебском пединституте, где ему посчастливилось встретиться с не менее известным критиком В.Днепровым, оказавшимся в том же месте после того, как он вернулся из заключения. В.Днепрову, встретившемуся там с Корманом, посчастливилось, я думаю, ничуть не меньше. Днепров после Борисоглебска вернулся в одну из российских столиц, где он работал до ареста, а Корману довелось поехать в Ижевск, так как его нигде больше не брали. В 1983 году он готовился провести в Ижевске межвузовскую конференцию по проблеме автора. На нее должны были съехаться ученые из многих городов тогда еще нерасчлененной империи. В программу была включена целая группа пермских ученых, и я в том числе. Но вдруг, за день или два до открытия конференции в Пермь пришла телеграмма об ее отмене. Оказалось, что обком партии, отменив данное им прежде разрешение, отказал оргкомитету конференции в гостинице под предлогом необходимости проведения какого-то областного партийно-хозяйственного совещания. В этом ли была истинная причина, остается только гадать. Говорили, что обкому не понравился состав участников, включенных в программу. Вполне возможно, – ведь далеко не у всех «пятый пункт» был «чистым». Ректор университета не принял профессора Кормана, явившегося в назначенное ему время, чтобы договориться о новом сроке проведения конференции, и, заставив его прождать больше двух часов, не показавшись профессору и не извинившись перед ним, уехал по другим делам. Борис Осипович был сильно травмирован этой историей, продемонстрировавшей обычную бесцеремонность, если не сказать хамство, партийной верхушки. Финал был трагическим. На следующее утро Борис Осипович Корман не проснулся. Мы были потрясены этой историей, не столь уж исключительной по тем временам.

И, тем не менее, мы работали, жили, радовались. Я чувствовала себя членом некоего всесоюзного содружества той части гуманитарной интеллигенции, что отстаивала свое право на внутреннюю независимость и честную творческую работу. В литературоведческом мире существовал отнюдь не узкий круг демократически настроенных вузовских ученых разных поколений, близких друг другу и по характеру научных интересов. Конференций проводилось немало, и я в них охотно участвовала. На фоне ширящейся рутины такие конференции были и разрядкой, и стимулом, и поддержкой. Надо, правда, признать,

что оградить себя полностью от давления «сверху» и от вынужденных компромиссов удавалось не всегда. Но мы к этому стремились. В большинстве случаев мы почти сразу же узнавали друг друга, узнавали, едва начав говорить, а иногда и без слов, по каким-то едва уловимым признакам, и почти не ошибались. На конференциях завязывались не только научные контакты, но и дружбы.

Может, видимо, показаться, что в этих моих записках слишком часто использованы восхваляющие определения типа *красивый, одаренный, замечательный* и т.п. Но мои друзья действительно были такими. Я знала очень многих прекрасных людей. Повезло? Часто встречаешь в печати признания актеров, ученых и т.д. в том, что им как-то особенно повезло на учителей и коллег. Мне не хочется повторять слова о везении. Я полагаю, что дело не в нем. Просто, наверное, на свете и вправду много хороших, талантливых, добрых людей, они всегда тянутся друг к другу, и страна наша не была исключением.

Каждый из наших пермских и не только пермских друзей достоин особого разговора. Большинство из них – яркие люди со сложной судьбой. Многие, как и мы, попали в Пермь или Ижевск в силу перипетий истории страны, это было в некотором роде ссылкой, и мы всегда это ощущали. За многие годы Пермь стала нам близкой, но все же не забылось, что мы не оттуда. Вокруг Перми было очень красиво – Кама, ее притоки, леса, холмы, но это был не наш край, и климат там был для меня тяжелым, малоприветливым, слишком холодным. Климат идеологический был в первое время после нашего приезда, в пору хрущевской оттепели, вполне приемлемым и внушавшим надежды, но уже с середины шестидесятых стало холодать.

Была какая-то закономерность в том, что на каждом этапе жизни, с каждым нашим переездом более или менее либеральная атмосфера, какой она виделась нам вначале, неуклонно сменялась ужесточением ситуации. Условия, казавшиеся благоприятными, надежды, иллюзии, или на худой конец возможность успешного балансирования в какой-то момент внезапно вытеснялись поворотом вправо, обострением противоречий, усилением противостояния и борьбы разных идеологических тенденций. Это происходило и в центре и «на местах». В Перми немало конфликтов такого рода было и до меня и при мне. С ослаблением оттепели пошли столкновение за столкновением, история за историей. Когда началась перестройка, снова потеплело, снова расцвели иллюзии и снова потом пришлось пережить их утрату.

В ту пору поворот к старому особенно резко обозначился на конференции 1965 года. Это была большая межвузовская конференция по проблемам литературоведения. Было много участников из других го-

родов, все мы тоже, конечно, выступали. Выступил и студент-старшекурсник Женя Тамарченко с докладом о Солженицыне. Солженицын тогда еще был новинкой, открытием. Он был в чести, Твардовский напечатал в «Новом мире» его рассказ «Один день Ивана Денисовича», положивший начало развитию лагерной темы, до того не допускавшейся на страницы советской печати. Казалось, что этим навсегда сняты все запреты и небо над нами почти безоблачно. Но тучи уже начали сгущаться. Женя Тамарченко работал до того над творчеством Хемингуэя под научным руководством Бельского. Ретроградные требования Александра Андреевича заставили Женю сменить руководителя; он перешел к Римме Васильевне Коминой и стал работать над новой темой. Бельский выступил на конференции с резкой критикой доклада Тамарченко, обвинил его в отступлениях от принципов марксизма и заявил, что ввиду идеологических ошибок Тамарченко он вынужден был отказаться от руководства его работой. Зал был шокирован. Помню реплику историка Гордона из Пединститута в ответ на упрек Бельского в адрес Тамарченко, что у того в докладе нет цитат из классиков марксизма: «Я каждый день надеваю свежую рубашку, но я вовсе не должен повсюду кричать об этом».

Был набран сборник по материалам конференции, но еще до его выхода состоялись заседания парткома университета, факультетское партсоборание, заседание бюро горкома. Во всех этих инстанциях Римму Васильевну осудили, дали ей партийное взыскание, отозвали с должности старшего научного сотрудника, на которую перевели год назад, чтобы дать ей возможность завершить задуманную ею докторскую диссертацию о стилевых течениях в советской литературе, а уже готовый набор сборника рассыпали. Декана Мурзина и замдекана Сахарного лишили этих должностей. В общем, шума было много и головы летели. Вслед за этим «политическим делом» на факультете возникли другие. Факультет был взят под особый контроль, облегчавшийся тем, что на нем, как и всюду, нашлись и стукачи, и ревностные инициаторы подобных дел. Эти люди, охваченные «казармом попадания в директиву» (выражение Л.Гинзбург) и охочие до «охоты на ведьм», жестко придерживались позиции «держат и не пушат».

Римма Васильевна поначалу, и довольно долго, держалась в этой ситуации замечательно. Она боролась отчаянно, защищая себя и своих подопечных, кафедру, факультет. Она написала письмо в ЦК, но его, как это было заведено, переслали из центра на рассмотрение местного руководства, так что оно возымело лишь негативное действие. Смелость Риммы Васильевны усилила восхищение ею, она стала героиней факультета. Лев Ефимович Кертман назвал ее Жанной д'Арк. Однако

давление на нее было слишком сильным, и в какой-то момент она прервала сопротивление. Теперь она порой удивляла студентов не смелостью, а осторожностью суждений, уступками официальной линии. Было ужасно обидно видеть ее такой. Трудно было понять, во что она теперь верила, а во что – не очень. Казалось, она ведет двойную жизнь. Во всяком случае, она, как видно, поняла, что для свободного полета дорога пока закрыта. Но тут скоропостижно умер Бельский, занимавший тогда пост декана, и новым деканом, к нашему удивлению и радости, назначили Римму Васильевну. Оказавшись на этом посту, она продолжала быть осторожной, оберегая себя и факультет, и иногда, похоже, теряя грань между тем, что она думала на самом деле, и тем, что ей полагалось думать.

Через несколько лет после этих событий, уже во времена перестройки, я эмигрировала в США. Когда, два года спустя, стосковавшись по родным местам, я приехала в Пермь, Римма Васильевна встретила меня прежней, как бы вернувшейся к самой себе. Это опять была хорошо мне знакомая, ищущая, бесстрашная Римма Васильевна с ее острым аналитическим умом. Незадолго до того она перенесла тяжелую операцию, но интерес ко всему был у нее огромный. Вернувшись в Америку, я через несколько месяцев узнала о ее кончине. Поверить в это было трудно.

Расскажу также историю, связанную с учеником Риммы Васильевны, отличным студентом Игорем Кондаковым. Он, будучи секретарем комсомольского бюро факультета, сказал на одном студенческом собрании, что Павка Корчагин сегодня уже не является идеальным героем для молодежи и что теперь желателен герой, обладающий не столько классовым чутьем, сколько высоким интеллектуальным развитием. Сразу же прогремел гром. Вместо московской аспирантуры, которую прочили Кондакову, он попал в сельскую школу, где работал, надо сказать, талантливо и на совесть. Потом он наверстал свое: и аспирантуру закончил, и печататься стал широко, и лекции читал в московских высших учебных заведениях, и докторскую написал. Но тогда путь в науку ему преградили. И то, что он преодолел преграды, демонстрирующие мракобесие властей, свидетельствует о его одаренности и силе воли.

Показательна также история, случившаяся с Леонидом Николаевичем Мурзиным и Ритой Соломоновной Спивак. Шла так называемая студенческая весна. После отъезда Сахарного студенческую самостоятельность факультета курировал Мурзин. Ребята из творческого кружка, руководимого Ритой Соломоновной, подготовили сценку по мотивам пьесы Горького «На дне» о ситуации на филологическом факуль-

тете и отношении к факультету университетских и городских властей. Сатин в этой сценке жаловался, что у него болит голова. «Почему это?» – спрашивали его. «Да ведь бьют и бьют, и все по голове», – отвечал Сатин. Программу предварительно проверила театральная комиссия парткома. Мурзина и Спивак обвинили в идеологических ошибках. Леониду Николаевичу дали партийное взыскание, отозвали из Ленинградского университета его документы, представленные для защиты докторской диссертации, и сорвали ему защиту. Мурзин попал в больницу в предынфарктном состоянии и смог защититься только через год или два. А ведь он был настоящим ученым, организовал новую кафедру, имел множество аспирантов. Он фонтанировал идеями и был очень любим своими коллегами и учениками. Риту Соломоновну власти прочили после скандала с самодеятельностью в «героини» городского пленума по идеологии. Уже был подготовлен проект решения о недопуске ее к идеологической работе, что означало не только перспективу увольнения из университета, но и невозможность получить работу где бы то ни было, включая школу. Бельский стал говорить «наверху» о том, что Рита Соломоновна якобы собирается уезжать в Израиль, а такое намерение уже само по себе в те времена вызывало гонения. Друзья Риты подняли на ноги самые разные силы, чтобы отвести от нее опасность. Люся Грузберг стала распространять слух о том, что Рита беременна, а беременных женщин увольнять было нельзя. Старый приятель Риты, учившийся в школе вместе со вторым секретарем горкома, пошел к нему на прием с просьбой о помощи в этой ситуации, но тот не сумел или не захотел сделать это. Наконец, знакомая Ритиной подруги, бывшая в то время любовницей какого-то другого партийного секретаря, воздействовала на своего возлюбленного в желательном направлении, и пленум был отменен. Ну, чем не политический детектив в периферийных масштабах?

У меня в Перми тоже было немало трудностей подобного рода, хотя, может быть, и не столь тяжких, а может быть, я не так остро реагировала на подобные вещи, поскольку изрядно закалилась еще с запорожских времен. Работать на кафедре Бельского, а после его смерти в 1977 году под началом его вдовы Яшенькиной, не менее ретивой партийки и куда более скандальной особы, чем был он, мне было не просто. Ректорат позволил Яшенькиной унаследовать от мужа кафедру, «чтобы научное направление кафедры не изменилось», хотя она не была ее штатным работником и имела степень кандидата наук не по филологии, а по философии. Бывали дни, когда я старалась не заходить в комнату нашей кафедры и отдыхать между лекциями на соседних, так мне было неприятно на нашей. Благо, на факультете и препода-

даватели в большинстве своем, и тем более студенты относились ко мне хорошо.

Мне не дали характеристику для туристической поездки в ГДР. В другой раз, когда я собиралась поехать в ГДР на научную конференцию, посвященную творчеству Бехера (мой доклад был включен в программу), мне сказали, что я опоздала с представлением документов. Яшенькина и Бельский жаловались на меня проректору по научной работе как на редактора научного сборника за якобы идеологически порочное редактирование, выразившееся в «усталости от идеологии» и вымарывании мест, отмеченных идеологической патетикой. Бельский на совете факультета заявил, что я злонамеренно сокращаю часы на творчество писателей социалистического реализма и трачу их на писателей критического реализма. Речь шла о том, что я несколько сократила время на творчество Барбюса, чтобы рассказать о Сент-Экзюпери. Даже после того как меня утвердили в звании доктора филологических наук, Бельский не разрешил мне иметь аспирантов, так как присутствие моих учеников могло, по его словам, «создать нездоровую обстановку на кафедре». Он всячески старался помешать моей работе над проблемами поэтики литературы, утверждая, что обращение к поэтике означает отход от идеологии и что «тут есть опасность формализма». Помню, как меня рассмешило стилистическое совпадение этой формулы с той, что я уже слышала в Ижевске: «Тут есть опасность сионизма». Эта приверженность к стандартам мышления и языка показала мне очень характерной. Помню также, что когда я посоветовала его аспирантке, представившей на обсуждение кафедры кандидатскую диссертацию о романе ГДР, использовать теоретические работы Бахтина, ученого с мировым именем, Бельский заявил, что пока он руководит кафедрой, имя Бахтина звучать на ней не будет. Ну, конечно! Ведь в тридцатых годах Бахтин подвергался репрессиям, и работы его после этого долго не публиковались. Мою докторскую диссертацию Бельский упрекал в отсутствии цитат из классиков марксизма, а также в сионизме, аргументируя тем, что я позитивно оценила антифашистские романы Фейхтвангера. Отзыв на диссертацию, который он от лица кафедры дал мне для защиты, был встречен в Тбилисском университете с иронией. Там оказались нормальные люди, которые сразу все поняли. Сейчас смешно вспоминать обо всем этом, но тогда бывало не до смеха.

Было немало и мелких и крупных эпизодов подобного рода и в моей работе, и в работе моих коллег. Обязательной составляющей преподавания было не только взаимопосещение занятий друг друга ради обмена опытом, но и посещения их со стороны начальства разно-

го ранга, часто неожиданных, с целью идеологической проверки. Расскажу о нескольких таких эпизодах. Однажды завкафедрой без всякого предупреждения явился на мою лекцию о творчестве немецкого писателя-антифашиста Генриха Белля. Это было вскоре после того, как А.И.Солженицына арестовали и насильственно вывезли из страны в ФРГ, где ему оказал гостеприимство Генрих Белль. Немецкий писатель до того широко печатался и привечался в СССР, но тут все резко переменилось: его перестали не только печатать, но и упоминать, разве что с осуждением в связи с его поступком, якобы недружественным по отношению к СССР. Я коротко рассказала студентам о том, что изгнанный из страны Солженицын нашел приют у Белля. После лекции мой завкафедрой сделал мне критическое замечание: ему не понравилась внешняя бесстрастность, или, как он выразился, «эпичность» моей информации (свои истинные чувства по этому поводу я не стала акцентировать); он считал, что о поступке Белля, с моей точки зрения заслуживающим всяческого уважения, следовало рассказывать с «партийных позиций», то есть с негодованием. Другой подобный случай произошел на моей лекции по введению в литературоведение. Я вела речь об особенностях поэтического языка, и в частности, о том, что в художественной литературе между словами могут возникать совершенно особые связи, порождаемые законами образной ассоциативности, а не грамматики. В качестве примера разнокорневых слов, кажущихся однокорневыми в поэтическом контексте, я сослалась на строчку из Пастернака: «Трагедией трогают зал». В аудитории были не только студенты, но и проверяющая особа – весьма экспрессивная дама, в то время занимавшая пост секретаря партбюро факультета. Она указала мне на неуместность подобного примера, ориентирующего студентов на пессимистическое восприятие мира, в то время как мы должны воспитывать в них социалистический оптимизм. «Разве только трагедией можно тронуть людей?» – спросила она, не скрывая своего неодобрения. Расскажу также об эпизоде на экзамене по зарубежной литературе XX века. Завкафедрой пришел проверить, как я это делаю. Передо мной сел один из хороших, творческих студентов, склонный иметь свое мнение. Вопрос ему попался о модернизме, который тогда подлежал всяческому поношению как «продукт кризиса буржуазной культуры». Юноша начал рассказывать о произведениях ряда писателей-модернистов с интересом и пониманием, обходясь без негативных стереотипных оценок. Бельский был этим недоволен. Он сидел рядом со мной, дожидаясь моей реакции. Я же подбрасывала студенту все новые и новые дополнительные вопросы, дожидаясь, пока Бельскому все это надоест, и он уйдет.

Получилось что-то вроде игры в «кто кого пересидит». У меня терпения оказалось больше. Со словами: «Видно, конца тут не дождешься», – он раздраженно поднялся и вышел, я поставила студенту «отлично» и отпустила его. Через несколько лет, попав с ним вместе в один гостеприимный дом, я узнала, что он тогда ничего не понял, ему было невдомек, зачем я так долго держала его, и он даже рассказывал однокурсникам о моей сверхвысокой требовательности, вгоняя их этим в страх. Это был Володя Пирожников, ставший к тому времени известным пермским журналистом, и мы с ним вспомнили те недобрые времена.

Все эти впечатления косвенно отражались в моей научной работе. Римма Васильевна, прочитав мою статью «Размышление о заколдованной принцессе», где шла речь, помимо всего прочего, о мнимом жимом, с усмешкой заметила, что это, конечно, о Яшенькиной и Бельском и что ей теперь понятно, почему Бельский упрямо препятствует опубликованию этой статьи в сборнике кафедры. Но я не писала зашифрованных статей. Просто, размышляя над историей и теорией литературы, я всегда видела за этим историю мышления, настроений, эмоций, историю представлений людей, их стремлений, их психологии. Мне действительно была очень интересна эволюция художественных форм, потому что я видела за ней внутренний мир людей и их судьбы. Мне была интересна немецкая литература в немалой степени потому, что она рождала у меня множество ассоциаций с теми условиями, в которых приходилось жить и работать в нашей стране. Уход в литературу от окружающей пошлости, подлости, рутины, бытовых трудностей вовсе не был для меня бегством от текущей реальности в заоблачные выси, а напротив – косвенным осмыслением реальности. Высокое искусство давало истинный масштаб для восприятия окружающего, оно открывало передо мной «большое время» (выражение М.Бахтина), побуждало соотносить сегодняшние впечатления с вечными ценностями, ограждало от влияния стадности, помогало сопротивляться «совковости», питало тягу к «живой жизни». Думая о литературе, я думала о жизни, о нашем времени, о детях, о любви, о творчестве. Моя работа давала много пищи для подобных размышлений. Я жила, работая, и работая, жила. Настоящее радостное волнение дарили мне смелые и талантливые книги – и художественные, и научные. Работы Бахтина, появившиеся во второй половине шестидесятых, буквально потрясли, и не одну меня, своей глубиной и новизной: они открыли для меня в моей профессии новые горизонты, по-новому выявили ее человеческий смысл. Большое впечатление произвела на меня двухтомная энциклопедия «Мифы народов мира», первый том которой я рецензи-

ровала для журнала «Вопросы литературы». Многим взволновали меня в свое время книги Н.Берковского, Н.Павловой, А.Карельского, Р.Каралашвили по проблемам немецкой литературы.

Работа дарила мне радость творчества, чувство свободы. Легко и свободно мне было в аудитории, наедине со студентами. Свободный, серьезный и доверительный разговор с ними вознаграждал за все неприятные моменты общения с моим завкафедрой и его приспешниками. Большую радость давала и работа за столом, наедине с книгами и листом бумаги, хотя писала я всегда очень трудно, обговаривая все написанное с мужем и друзьями-коллегами и переделывая свои опусы по многу раз. Работа очень поддерживала меня в трудных обстоятельствах. Я и теперь, будучи в Америке, по возможности продолжаю ее. Спасибо моему младшему сыну Алику, что теперь, когда нет ни Оси, ни Жени, он помогает мне в этом.

Перечитала написанное. Боюсь, что оно не передает в полной мере той атмосферы, в которой мы жили. Похоже, она получилась в моем освещении слишком мрачной, но она была не однотонной, и не только работа спасала нас от тяжелых обстоятельств и впечатлений. Было счастье, настоящее счастье, несмотря на все трудности, были радости, простые радости любви, супружеской и родительской, радости дружбы, общения с природой, с искусством. Были семейные радости. Была радость творчества. Тогда мы постоянно, чуть не каждый день, чуть не при каждой встрече говорили о наших идеологических оппонентах и разных стычках с ними. Казалось, именно этим наполнена чуть не вся жизнь. У нас был даже семейный анекдот, известный всем нашим друзьям. Как-то я, укладывая внука спать, рассказывала ему какую-то сказку, потом прилегла возле него и, продолжая рассказывать, засыпая, уже сквозь сон, проговорила: «Мы хотели поменять квартиру, а Бельский стал протестовать». Меня разбудил хохот моих домочадцев, оказавшихся свидетелями этого эпизода. Видно, моя постоянная полемика с Бельским проникла даже в мое подсознание. А вот теперь, как это ни странно, многое из этой стороны нашей жизни ушло куда-то из моей памяти как несущественное, и вспоминать об этом не хочется. Настоящая наша жизнь была в другом, она во многом шла мимо этой борьбы, хотя борьба эта вынужденно занимала и наши мысли, и наше время.

Я хочу привести здесь воспоминания наших друзей об Осе и Жене и для того, чтобы полнее представить их здесь, и потому, что эти воспоминания воссоздают атмосферу нашей тогдашней жизни именно с той стороны, которая, как мне кажется, освещена мной недостаточно. Эти воспоминания, собрав их в рукописной книге, мои пермские дру-

зя подарили мне на прощанье, когда я уезжала в Америку. Они для меня бесценны. И я думаю, что вправе включить их в эту рукопись.

ОН ВСЕГДА БЫЛ ЖИВОЙ

Мои встречи и контакты с Ари Яновичем не были постоянными и носили скорее характер эпизодов и фрагментов. Чаще всего это были общие застолья в доме Кертманов, пересечения в дни больших праздников или больших бед; бытовая же линия восприятия и ощущения его личности шла через Наталию Самойловну, разговоры у Льва Ефимовича и Сарры Яковлевны, так что при всем том у меня было (и остается) чувство, что я хорошо его знала и что он, несомненно, входил в тот пермский круг, который я считала (и считаю) своим и который при всех видоизменениях и отклонениях и был моей – и нашей общей – жизнью.

На ее горизонте он появился в начале шестидесятых годов, приехав из Ижевска для работы в только что созданном совнархозе. Сначала без семьи. Часто бывал у Кертманов по вечерам, где собиралась некая компания для игры в преферанс. Мне это было совсем неинтересно, хотя я, живя этажом ниже Кертманов, часто бывала в их доме. Но сознание мое сразу засебло фигуру мужчины с выраженной внешностью южанина, большими выразительными глазами, седыми волосами, галантного, подчеркнуто раскованного и вообще какого-то свободного, совсем не зажатого. Он, казалось, должен был приехать не из Ижевска, а, по крайней мере, из Неаполя. Он вызывал какие-то южно-европейские ассоциации. Однако он приехал все же из Ижевска на долгую жизнь в Перми.

Первое близкое знакомство с Ари Яновичем состоялось очень неожиданно и абсолютно случайно. В один из великолепных майских вечеров, когда дневная духота и пыль сменялись прохладой, мы с Надей Гашевой шли по Комсомольскому проспекту, наслаждаясь его майским уютом и предаваясь метафизическому балдению. Мне позарез нужны были деньги, и мы перебирали, у кого бы можно было одолжить небольшую сумму. И вдруг на уровне теперешнего «Аметиста» на нас буквально откуда-то «упал» Ари Янович, тоже, очевидно, метафизически настроенный, потому что из нас троих мгновенно образовался союз, у которого без каких-либо усилий возник и общий язык, и общие темы, и общее настроение.

Он великолепно умел и создавать и поддерживать атмосферу непринужденности и беспечности. И нам стало весело, и мы вдруг почувствовали, что у этого очаровательного южанина можно попросить в долг. Эффект превзошел все ожидания. Не колеблясь ни единой секунды, Ари Янович выгреб из кармана брюк пачку купюр и задал только один вопрос: «Сколько?» Сбившись от растерянности с толку, я попросила почему-то 60 рублей (по тем временам большие деньги) и тут же без единого слова получила их. Впоследствии мне не раз приходилось прибегать к услугам Ари Яновича, и он всегда давал деньги легко, свободно, даже весело. Никогда не оговаривал срок возврата – предполагалось, что верну, когда смогу.

И вот, получив 60 рублей, мы еще сильнее возрадовались жизни и весело продолжали нашу прогулку уже в обществе Ари Яновича. Был он в тот вечер неотразим, неистощим на острооты, каламбуры, шутки, игры, анекдоты. Атмосферой дома Кертманов мы были подготовлены к такому стилю, но Ари Янович был словно создан, собран, составлен из этого изумительно-радостного сплава. Он сыпал на нас своим остроумием, доставал откуда-то новейший анекдот, тут же дополнял его собственной байкой, потом предлагал нечто из Галича, тогда еще не всем известного и не всюду доступного. И мы при этом шли по вечернему Комсомольскому проспекту, свернули на улицу Белинского, со стороны гарнизонного универсама открывалось зрелище чудесного заката, и Ари Янович обратил наше внимание на аллею цветущих лип, на их запах и красоту. Улица еще не была вырублена, и трамваи по ней не гремели.

Мы вышли на центральную в те времена магистраль – улицу Карла Маркса, и в скверах, пересекающих эту улицу на две части, мы сидели на скамеечках, потом снова шли, снова сидели и опять шли вниз, к улице Ленина, к почтамту, к театральному скверу, утопающему в сирени. И Ари Янович виртуозно пел Галича, особенно про гражданку Парамонову – коронный номер его самостоятельного репертуара. Он дарил нам праздник, хотя день был самый обычный, ничем не примечательный.

Было ясно, что пермский круг не просто пополняется, но обогащается незаурядным и широко талантливым ижевским новичком. Потом мы по его предложению стали играть в слова – грузили корабль предметами на заданную букву.

Его эрудиции и изощренности не было конца, соперничать с ним было невозможно и бесполезно. Иногда мне казалось, что он нарочно разыгрывает нас, предлагая какие-то несуразные слова. Так, когда мы уже вроде все погрузили на букву «я», Ари Янович из запасников па-

мяти достает что-то еще и победоносно восклицает: «Ярочка!» Я с недоверием посмотрела на него, мысленно уличая в подделке. Он перехватил мое недоумение вопросом: «Вы что, не знаете, что такое ярочка?» «Ну, это птичка такая», – лепечу в ответ. Последовавшую за этим сцену надо было видеть: Ари Янович попросту остолбенел. Но ненадолго, ибо тут же закатился неудержимым хохотом и все повторял: «Нет, Вы в самом деле не знаете, что такое ярочка? Скажите, Вы шутите или не знаете, что такое ярочка?» Но, увы, я не знала, что такое ярочка. С его легкой руки цитата с «птичкой ярочкой» много лет тянулась за мной хвостом. А позже он уже рассказывал эту историю безотнositельно ко мне, как некий самостоятельный художественный фрагмент, рассказывал в лицах, с акцентами, наслаждаясь.

Он был удивительно живой, и я думаю, что его безудержная страсть к розыгрышам, подшучиваниям, иронии, ёрничанью были внешней формой его широкой и жизнелюбивой натуры. В его каламбурном сочинительстве, абсолютно неиссякаемом, никогда не было ничего обидного. Самая саркастическая шутка или острова произносились на полном серьезе и при полном спокойствии, что удваивало юмор и радость всей сцены. И вообще в нем было очень крепкое миротворческое начало, он любил и умел мирить и примирять людей, умел ладить с различными характерами и индивидуумами.

Он был незаменимым тамадой, центром праздничного застолья, сбить его было очень трудно, и в паре со Львом Ефимовичем они являли собой артистический дуэт. Легко, изящно, как-то даже пружинисто фонтанировал источник его остроумия, жизнелюбия, способности смеяться и радоваться. Таким он и вошел в сознание, и остался в памяти – неискоренимым жизнелюбом, человеком живым, живущим, радующимся жизни и людям. Эти качества его личности были заразительны, они обладали магнетической силой, притягивали к себе. Люди к нему тянулись – таким уж было его обаяние, обаяние жизни и всего живого.

Но я помню Ари Яновича и другим, в глухое, тяжелое время его семейной беды – трагической гибели старшего сына Жени. Мой муж, не очень-то приближавший к себе людей и никогда не жаловавший пермского гуманитарного круга, делал для Жени исключение, и Женя часто бывал в нашем доме. Их сближали разные и неожиданные интересы и совпадения: разговоры о каратэ, спортивной литературе, какие-то мужские тайны, в которые я и не проникала. Женя тоже был очень живым и многое умеющим в практической жизни. В ту пору мы находились в затяжном капитальном ремонте, и Женя, живший напротив нашего дома, вечерами, как правило, забегал к нам, давал консульта-

ции, советы, что-то рекомендовал, в чем-то обещал помочь и помогал. При его участии настился новый деревянный пол в кухне, выбирался линолеум для прихожей, утверждался тот или иной проект переделки. Он все понимал, участие его было ненавязчиво и очень толково. Мы радовались, когда он приходил к нам. Иногда мы варили кофе или чай и расслабленно сидели в нашей большой кухне, планируя встретиться в ней на новоселье. Женя все делал сам, и мама до сих пор вспоминает и использует его совет по правильному отвариванию сосисок (во время кипения ножом проткнуть оболочку), а я варю кофе с учетом его рекомендации – по готовности сбросить в турочку одну-две капли холодной воды, тогда кофейная гуща быстро оседает на дно. И таких мелочей было много, они и сейчас связаны с памятью о Жене.

В разгар лета 1980 года он погиб. И мы с мужем пошли в дом Ари Яновича и Натальи Самойловны, чтобы разделить наше общее горе. Говорить было трудно. За столом спиной к окну сидел Ари Янович – сплошные темные глаза и нескончаемая сигарета во рту. Лицо было – в глазах, глаза вбирали и заслоняли все. Казалось, все в нем погибло, кроме глаз, которые горели, жгли болью и тоской. Наталья Самойловна пробовала «жить» и по обязанности хозяйки ставила на стол клубнику, привезенную ее братом с Украины. Почему-то запомнилась эта клубника, ее зловещая красота и жизнь, заключенная в ней, которые символически контрастировали со случившимся. Ари Янович только курил. Рассказывал что-то необязательное, отвлекающее, хотя никто отвлечься не мог и не хотел. В этот и последующие дни он виделся главой дома, в котором поселилась беда, непоправимая беда. Он нес ее на своих плечах, своими глазами, он терпел, преодолевал себя, чтобы помочь тем, кто слабее, не дать им сломаться. Отступили в сторону шутки и каламбуры – рядом с нами была глубина его горя, переживаемого стоически, по-мужски. Думаю, что в эти дни что-то главное, на последнем срезе личности надломилось в нем, сделав его открытым и уязвимым для той роковой болезни, которая унесла его. Но это было позже – и это другая страница.

А я так вот и вспоминаю его – на этих непостижимых качелях жизни: в радости и в провалах горя, сверкающим всеми красками жизни и потухшим, безудержно живым и погибшим, по-мужски сильным и по-мужски слабым, открытым всем дуновениям земли и неба и удалившимся от них в штормовую темноту своей души. И это все Ари Янович, который всегда был живым и который ушел от нас живым.

Н.Васильева
15 июня 1992 года.

СЛЕПЯЩИЕ ФОТОГРАФИИ

Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Д.Самойлов

Духоборы считают, что Бог-дух – это память, Бог-отец – разум, а Бог-сын – воля, – так Святая Троица живет в душе человека. Этот поэтический ход мысли близок мне. Ведь по воле Бога-духа в моей памяти живы все те, кого я не просто могу, а хочу помнить. Особенно там, в шестидесятых.

И когда я мысленно говорю сегодня с Женей Демьяновым, я читаю ему строки стихов Давида Самойлова: «Помнишь, папа еще молодой...» А он, по нашей тогдашней (и неистребимой) филологической традиции отвечает:

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч, и пролетка крылата,
И мы едем незнамо куда –
Все мы едем и едем куда-то.

Так мы и летели тогда, в шестидесятых, – незнамо куда на преловугой птице-тройке и радовались простым вещам: дружбе, теплоту семейному дому, лету, реке, дерзким песням Галича, пронзительной лирике Окуджавы... Да мало ли чему радуется молодость. Может быть, больше всего – себе. Каждый день был долог и наполнен, каждая новая встреча казалась необычайно важной.

Потом окажется, что «слепащих фотографий», неповторимых мгновений не так уж много сохранилось под строгим взглядом Бога-духа и случайные встречи и люди куда-то ушли из памяти. Но те, кто остались, – живы. И живо все, что с ними связано, – запах и цвет осени, дождя, конус света от фонаря и летящий в нем снег, заречные и лесные дали, цветущие яблони в мае, июльская гроза... «Поэт всегда прав». Поверим поэту: «... юности нет, и старости нет, а может, и смерти нет».

Итак, «слепащие фотографии», стоп-кадры той живой нашей поры. Весна. Все цветет. По Комсомольскому проспекту идем мы с Ниной Васильевой, а навстречу мужчина явно не пермского вида. Я сразу обращаю внимание на его гасконскую, по моим понятиям, внешность. И тут он демонстрирует еще более непермский стиль: на просьбу Нины дать денег в долг, не спрашивая ни о чем, мгновенно достает из кармана деньги, причем так артистично, что это похоже на фокус. Вероятно, Ари Янович Демьянов (а это был он) заметил мое нескрываемое восхищение и про себя забавлялся. Немного погодя он, как говорится, подбавил жару. Не помню, почему заговорили о лысинах. «Лысина – это паспорт полученных удовольствий», – сказал Ари Янович и тут же присел, чтобы мы с Ниной могли, вероятно, убедиться, как густа еще его шевелюра и как много удовольствий от жизни он еще ждет. Такая раскованность была непривычна для нас (для меня), мы были тогда невероятно зажаты, сами не сознавая этого, и я до сих пор очень благодарна тем немногим людям старшего поколения, кто личным примером снимал «совковый», как теперь говорят, комплекс неполноценности с меня и моих друзей. А стиль фейерверка продолжался в тот вечер до конца. Он был в шутках, в игре (новой для меня), в цитатах. Я еще не знала, что этот стиль постоянен для Ари Яновича. Вдруг, между прочим, он меня спросил:

– А вы запомнили мое имя?

– Да, – ответила я.

– Назовите по буквам (эту фразу он говорит по-английски).

Не успев понять, почему по-английски, и вообще – зачем, но уже увлеченная его стремительностью, стремительно же отвечаю: «А,Р,И».

– Правильно. Обычно добавляют «и» краткий. А вы поняли верно.

После я поняла: он одновременно и проверил меня, и поощрил. А тогда было только ошеломление, все казалось удивительным.

Еще один стоп-кадр: вечер в доме Кертманов, праздник. Ари Янович поет. Поет артистично, невероятно длинные тексты, сюжетные. Поет и играет моноспектакль. Я впервые слышу песни Галича (и не только его) – про останкинскую девочку и эфиопа, про товарищ Парамонову, про то, что «Тибальд был задирой и хамом...». Мы хохочем и пытаемся запомнить все это. Мы просвещаемся, чтобы немедленно просветить и друзей. (Муж не раз говорил мне позднее, в застойные времена: «Запиши! Забудешь текст! Этого же никто не восстановит!») В начале восьмидесятых мы с ним на пару вспоминали – и вспомнили – и записали несколько песен Галича: «Товарищ Парамонову», «Облака», «Мы похоронены где-то под Нарвой» и еще что-то. Но про останкинскую девочку уже не смогли вспомнить. А ведь гор-

дились своей памятью! Конечно, тогда и не думали, что сборник Галича скоро увидит свет). Впрочем, из песен, которые пел Ари Янович, далеко не всё, я думаю, и сегодня опубликовано. Ведь мы часто не знали автора. Знал он и, может быть, близкие люди, сыновья, друзья дома. Но неповторимо все помнил и исполнял только он. И оказалось, что главное было – не запомнить текст (для нас), главное – ощущение праздника, которое так и живет в душе.

Сейчас я понимаю (поняла, конечно, раньше), что стиль фейерверка, как бы ни был он органичен для Ари Яновича и как бы ни радовал нас, – лишь 1/8 айсберга, то, что на поверхности. А был он серьезный, очень деловой человек, очень работающий, из тех, кого так не хватает сегодня, в новых условиях и при новых возможностях. И, думаю, в те годы многие и многие таланты и силы его остались не востребованы. Впрочем, это случилось почти со всеми в нашей стране.

Помню один наш очень серьезный разговор. Я дала тогда Ари Яновичу слово, что он останется между нами. Думаю, теперь можно об этом рассказать. Ари Янович позвонил мне и сказал, что хотел бы поговорить со мной. Это было неожиданно, и от растерянности я ответила как-то старомодно:

– Когда Вам угодно?

– Сейчас.

Был ранний, уже не летний вечер. Мы встретились. Речь шла о Жене. Ари Янович хотел, чтобы Женя вошел в нашу компанию. Я тогда перешла на заочное отделение филфака и начала работать на радио, Марина Лебедева ушла вслед за мной, с нами был еще Володя Иванов, а начальником нашим был Эдик Шумов. В молодежной редакции радио было тогда весело и, казалось, для творчества были условия. Ари Янович беспокоился о Жене и хотел, чувствуя его гуманитарные наклонности, приобщить мальчика к журналистике. Это было совершенно правильно. Я знаю, Женя стал бы хорошим журналистом. Он умел и мог хорошо писать, он был очень контактен и достаточно дерзок. Как жаль, как безумно жаль, что дальновидные замыслы отца не осуществились. Женя, конечно, побегал с магнитофоном, но мало – потом была армия, потом ранняя женитьба, необходимость твердого заработка, потом – упорное и злое невезение, грубая и пошлая система, потом...

Но я повторяю, они оба, отец и сын, живы в моей памяти, и другого слова я здесь не напишу.

Женя вошел в нашу компанию естественно (так и хотел Ари Янович), но не потому, что мы так задумали, а просто потому, что «вписался», хотя и был самым младшим и, добавлю, самым романтичным

из нас. Мы дали ему прозвище «Граф» за изящество и эту самую романтичность и еще потому, что он пел: «Вставайте, Граф, рассвет уже полощется...». Словом, «вставайте, граф, вас ждут великие дела»... Еще, шутя, мы звали его «учеником мушкетеров», но, впрочем, роли (по Дюма) распределял он сам: я была Атосом, Володя Иванов – Портосом, Марина – Арамисом, а Женя, конечно, Д'Артаньяном. Мы не только работали вместе, но и бродили по городу, проводили вечера в одной компании. Заносило нас то на Камгэс, то в Закамск, где мы искали редкие книги, пили в каких-то уютных молодежных кафе сухое вино, пели, острили... Любили петь Киплинга: «И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог...» А над Женей уже нависала его солдатская судьба. Из рассказов Володи Иванова мы немного знали, что такое армия. Но лишь немного. И хотя ощущение драматизма жизни прорывалось в тогдашних наших песнях, мы были еще беспечны.

Приехал друг Жени Никита. Мы впятером отправились в лес, за Каму. Там нашли какую-то деревянную вышку, забрались на нее, сначала дурачились, а потом вдруг Женя, глядя на лес и реку, видные далеко до горизонта, словно бы в предчувствии будущих бед, сказал что-то задумчиво и серьезно. Мы притихли. Но вечером все забылось. В доме Демьяновых было шумно, весело, собралось много молодежи, команда «Никита» играла против нашей команды (где были мы с Женей) в КВН. Ари Янович дирижировал и был единолично «жюри» конкурса. Мы опять смеялись и пили вино, и пели, и лозунгом нашим были слова из Маугли:

«We are one blood – You and I» – мы с тобой одной крови, ты и я.

Потом помню вечер проводов Жени в армию. Кудри его остригли. Он шутил, но было невесело. Первой весточкой его из армии была телеграмма ко дню моего рождения:

«Надеюсь, Нэд, вам не больше восемнадцати. Граф». И приписка почты: «Нэд» и «Граф» – так верно». Поясню, что Нэдом меня звали в нашей компании за мужской, якобы, склад ума и характера. В телеграмме был весь тогдашний Женя – и что-то от Ари Яновича тоже!

Мне исполнялось 25 лет, и я казалась себе ужасно мудрой и уже пожившей, к тому же – собиралась замуж, а тут – такая телеграмма. Я храню ее до сих пор. Храню и Женины письма – хорошие, серьезные, порой трагичные. В этих письмах мне открылась Женина глубина. Во-первых, он хорошо писал, у него был слог. Во-вторых, он хорошо думал. Придумал, например, спектакль: выходит к рампе солдат и говорит: «А что я могу один?» Потом выходит второй и снова говорит: «А что я могу один?» И так – третий, четвертый, пятый... И потом – все они вместе, не слушая друг друга, выкрикивают все ту же фразу... Раз-

ве не было это символом времени? И нашим тогдашним мироощущением? И бессилием?

«Паршивая должность, Нэд, – последний романтик», – писал он мне из своей заполярной ночи, мастерски описав ее при этом. Я понимала, зачем и почему он косвенно цитирует «Трех товарищей» Ремарка. Понимала, но не до конца. Он не мог жаловаться, он был мужчиной, как и его отец. Поэтому чаще шутил, работал, так сказать, «под отца», в его стиле. А я однажды (уже после армии) сказала Жене, что отец, если захочет, заткнет всех троих сыновей за пояс. Это было на свадьбе Жени, в столовой дома со львами на набережной Камы. Было много народу, очень много молодежи, и Женька был очень хорош, конечно, – красив, обаятелен. Отец же, Ари Янович, просто блистал. Он и всегда изящно произносил тосты, а тут искрометная натура била через край. Наталья Самойловна, как мудрая женщина, никогда не мешала своему «Осе», как она его звала, проявлять себя во всем блеске, ухаживать за женщинами. Он же (как и Женя) ухаживал за ними просто потому, что был мужчиной. Итак, шла свадьба, и я не поручусь, что, по-братски, вернее, по-сестрински поцеловав Женю, я в каком-то укромном уголке, опьяненная вином и танцем, гораздо более поженски не поцеловала Ари Яновича. А потом и сказала Жене, что отец его всех трех сыновей за пояс заткнет. Женя не возражал, он смеялся и был очень похож на отца (с годами, кстати, все больше).

Теперь я знаю, что тогдашние мои слова – не точны. Да, я была привержена поколению людей, к которому принадлежал Ари Янович. Я и сейчас отношусь к этому поколению нежно и почтительно – к ним, фронтовикам. Но былая романтичность ушла. Осталось только сознание, что в жизни были яркие страницы, они связаны с этими людьми, которые живы там, в пространстве и времени любимых и пусть коротких шестидесятых. Это были хорошие, достойные люди, и они тоже формировали нас. А что касается сыновей, то я знаю, что Ари Янович в каждого сына вложил столько души, сколько мог, и потому они такие разные и такие талантливые, каждый по-своему. Я с глубоким удивлением и восхищением прочитала письма Алика к матери – письма зрелого и глубокого человека. А он казался мне таким еще ребенком! Нет, мужчины этого дома не перестают удивлять (я уже не говорю о матери), и, думаю, сыновья сыновей еще удивят мир.

Я помню шутку Ари Яновича, когда у меня родилась дочь. Он объяснял, как надо делать мальчиков. Шутка шуткой, а мальчиков в этой семье делать умели. Поэтому в ней так много внуков. И в каждом мальчишке живет (и пусть живет!) частица бессмертной души отца и деда.

Н.Гашева.
29.06.92.

ПАМЯТИ ЖЕНИ ДЕМЬЯНОВА

I

Женька! Милый!
Как можно?!
Но смертной тоской обнесло.
Навсегда опустели любимые наши просторы.
Берег левый и правый,
и синего леса крыло...
Что ж ты раньше ушел,
дорогой ученик мушкетеров?
Это право мое,
это заданный жизнью сюжет,
Наши роли давно
по-мальчишечьи ты обозначил.
Больше нет Д'Артаньяна.
Совсем. Никогда больше нет.
Больше нет и Атоса.
А попросту – женщина плачет.

II

Самый храбрый?
А может быть, самый ранимый?
Самый юный?
А может быть, самый серьезный?
Кто ответит теперь?
Кто узнал тебя, милый?
Заполярного ночью,
Морозной и звездной,
Ты писал мне письмо,
несмирившийся мальчик.
Ты писал – это было посланье поэта.
Да, «паршивая должность –
последний романтик», –
Только выше, пожалуй,
на свете и нету.
Я читаю – опять расплываются строчки.
Вспоминаю – опять раскрываются дали...

Женька, стой!

Ты опять, ты опять в одиночку.
А ведь раньше тебя три клинка прикрывали...

III

We are one blood, You and I!

«Одной мы крови» –
в юности клялись.

Но суета и пошлость
правят веком.

И от твоей могилы разошлись
Три насмерть одиноких человека.
Веселого вина не пить теперь,
А горькой водки в государстве хватит.
Она не глушит горечи потерь –
Лишь на минуту горло перехватит.
Но сорван нынче голос или нет –
В стихах нельзя от правды уклониться.
Об эту жизнь нас било с юных лет,
И первым суждено тебе разбиться.
Мой мальчик!

Над твоею головой,
Над милой, умной,
Над твоею родной

Я плачу.
Навсегда уходит свой.
Евгений – означает «благородный».

Надежда Гашева,
Июль, 1980

ПИСЬМО ОБ ОСЕ, АДРЕСОВАННОЕ МНЕ

Талочка, дорогая!

Об Ари Яновиче не хочется писать наспех, но я завтра уезжаю, а каждый отъезд на моем витке ощущается как обрыв, и я не могу не оставить здесь хоть несколько страничек на уделенном мне малом пространстве.

Я очень часто последнее время думаю об Ари Яновиче, о вас, о том, как бы все легко и даже празднично было (при всех сложностях и горестях), если бы вы сейчас собирались вместе... Кажется даже странным: такая ты солидная, ученая, профессор, доктор со стажем и с почитающими учениками в несметном количестве, но как же тебе была необходима опора на Осю. У тебя бы и ноги не ломались, шагай вы вдвоем... И «на круг» тебе крепко повезло. На яркого, очень яркого, умного и талантливое, талантливо любившего тебя человека.

Ты иногда сердисься, когда я вспоминаю появление А. Я. в нашем доме, первое появление, до того, как вы стали пермяками. Но его «Здравствуйте, я – Ари Янович Демьянов, муж Наталии Самойловой, я сегодня буду у вас ночевать» было не нахальством, а игровой формой – паролем. Раз мы познакомились с Н. С. и понравились друг другу, мы уже потенциальные друзья, а церемонии между друзьями ни к чему. И произошло странное и редкое: дружба, начатая после 40, стала такой, какой положено быть, если истоки ее в юности. Ведь не случайно наше «ты» – со всеми пермяками, кроме тебя и Оси, я на «вы» (помнишь, как Женя Голованова не могла с этим примириться?). И хоть о нашей дружбе нельзя сказать: «без сучка, без задоринки», но «задоринки» не смогли поколебать главное. Не о нем ли писал И.Сельвинский:

Но есть на свете такая дружба,
Такое чувство есть на Земле,
Когда воркованье просто не нужно,
Как рукопожатье в своей семье.

А как яростно мы с Геркой отговаривали Алика от решающего шага, чувствуя, вероятно, что в нем начало разлуки!

И так безмерно щемит сердце 2 июля... Самые лучшие, самые светлые и дорогие оставляют нас...

А Ося вспоминается мне очень разным. Искрящимся, веселым, с молниеносной реакцией на каждую реплику, неизменным победителем во всех играх, от скребла до преферанса, со вкусом поющим и танцу-

ющим. Но острый ум, блестящая память, богатство ассоциаций неизменно «срабатывали» и в ситуациях серьезных – он оказывался прекрасным «советчиком» и «оппонентом» по проблемам и немецкого романа, и философской лирики, и литературы военных лет. Помню, он зашел к нам в разгар работы над первой версткой моей книги о литературе ВОВ. Не прошло и пяти минут, как он оборудовал третье рабочее место и, взяв кусок текста, стал не просто «считывать» его, а и комментировать, удивительно метко и точно.

Помню, как Лева уговаривал его сделать диссертацию, Осе это было бы совсем не трудно. В отклонении этого проекта, мне кажется, решающую роль сыграло нежелание пожертвовать «живой жизнью» во имя корочки кандидата наук. Он умел наслаждаться живой жизнью, как никто из нас. Помню, с каким азартом он участвовал в «рыбалке», на которую нас вывез Алик Герчиков. Уха варилась из рыбы, вытасненной из багажника привезшей нас машины, но это было весело, игриво обставлено благодаря Осе. Во всем, что написали до меня «девочки», написали искренне и талантливо, в соответствии с «предметом изображения», живет щедрость его души, огневой темперамент, покорительное жизнелюбие, властно втягивающее в свою орбиту.

Но все чаще вспоминается – и никогда не забудется – и другой Ари Янович. Это было в период, когда мы несколько лет не общались совсем. И вдруг – в январе 1978 года Льва Ефимовича свалил тяжелый инфаркт. С какой отчетливостью он «проявил» людей. Звонки, приходы в больницу, борьба за право носить «детский» творог или морковный сок... или полное молчание, казалось бы, близких. И вдруг я вижу в коридоре реанимационного отделения А.Я., который спешит к врачу, созванивается с Лещинским из Ижевска, организует консультации. После этого то, что на время разделило, осыпалось, как шелуха после ожога – осталась сердцевина. И когда я, приехав в Москву, в первый же день прибежала в больницу на Каширке, где он лежал, я увидела очень добрые, приветливые глаза. Рядом с ним была ты, и он с радостью, гордостью, волнением говорил, что ты ночуешь в палате, не оставляя его и ночью. Когда так любят жену зануды-однолюбы, для которых ничего и никого, кроме супруги, не существует, это не удивительно. Но когда покоритель сердец и мужчин, и женщин, и юных, и постарше, умеющий и пофлиртовать и пококетничать, так любит, как он любил тебя, это поражает. Он гордился каждым твоим успехом – книгой, статьей, докладом – больше, чем ты сама, он выбирал тебе платья и кофточки, он любовно танцевал с тобой и смотрел при этом так, как смотрят не через 40 лет совместной жизни, а на заре ее.

Помню, ты уехала в Москву на пару дней раньше его и у нас в доме возник разговор о том, что ему, возможно, придется еще задержаться. «А как на это прореагирует Талочка?» – спросила я и получила мгновенный ответ: «Если она захочет, я выеду в тот же день».

Его не ущемляло, что иногда не ты за ним, а он за тобой перемещался в пространстве (переезд в Ижевск, например). Он считал тебя лидером, хотя по сути лидером всегда был он.

И когда становилось нестерпимо тяжело в больнице, в последние недели, главным его желанием было всегда видеть, чувствовать тебя рядом, не отпускать тебя ни на минуту.

Это, так пронзительно понятное нам обоим, великолепно выразил Б.Пастернак:

И я хочу, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье
Зарифмовали нас вдвоем.

Да будет так, дорогая!
Обнимаю тебя и очень жду в гости издалека.

Твоя Сарра
Август, 1992

«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...»

Мы познакомились восемнадцатилетними, и с первой встречи Женя Демьянов напомнил мне киевских мальчиков моего раннего детства. С ним можно было шутить как-то совсем по-другому, чем с уральскими ровесниками: в них не было такой обаятельной раскованности, такого редкого сочетания почти домашней теплоты и веселой общительности. Близкими друзьями мы не стали, компании наши в основном были разными (хотя в те незабываемые шестидесятые достаточно часто возникали и самые неожиданные пересечения...), но с первой встречи установившаяся, как бы само собой разумеющаяся родственная непринужденность прошла через все те годы.

Помнится много веселых эпизодов. Однажды я, «как ни странно», – сказал бы Женя, с опозданием часа на три, если не больше, явилась на первомайское застолье в «знаменитый демьяновский особняк» на

ул. Ленина. Дверь на звонок открыл Женя: «А-а, вот что тут нашлось!» – воскликнул он и на руках внес меня в шумную, но ошеломленно затихшую комнату. Там он оживленно рассказал: «Открываю дверь, гляжу – что-то валяется! Дай, думаю, подберу, авось кому-нибудь здесь пригодится!» – «задумался», как бы выбирая, и опустил меня... возле моего папы.

Вспоминается другое, в конечном счете, тоже веселое, но более психологически многослойное воспоминание. Новогодний вечер. Мне грустно, пребываю в растерянности: идти ли в общежитие к однокурсникам на новогоднюю встречу? Приглашена, и, в общем-то, хочется, но... так получилось, что в этот вечер все вроде бы будут парами, а я – нет. Приятного мало! В разгар колебаний позвонил школьный приятель, тоже «не определившийся». Я не слишком решительно предложила ему отправиться в мою компанию вместе. Он с энтузиазмом откликнулся, увлеченный перспективой новой компании в Новый год, я же энтузиазма не испытывала и даже готова была пойти на попятный! Теперь возникала неловкость – являться туда, где народ вроде бы распределился «четкими парами», с товарищем, с которым никакой четкости не было... И вот тут-то, как в сказке, раздался звонок Жени!

Кажется, это был его первый Новый год в Перми. «Приходи – разберемся!» – ответила я, ничего не объясняя. В его понимании и отклике была полная уверенность. «Куда идем?» – деловито спросил он, на все согласный.

Увидев, что один спутник у меня уже есть, сильно не растерялся, но все же на всякий случай вытянул меня на минутку в коридор: «Антр-ну, пардон, мадам, я тут, часом, не лишний?» «Да что ты! – воскликнула я. – Так гораздо лучше!». Видимо, это вырвалось так искренне, что Женька расхохотался. «О-о, всегда рад оказать Вам услугу, мадемуазель!» (Обращения он менял по настроению.) И я явилась на новогодний вечер в сопровождении целых двух блестящих рыцарей! И все было очень славно, и большая часть вечера проходила не в одной замкнутой комнате (и компании), а в широком общежитском коридоре, где смешались компании из разных комнат, где пели цыганские песни, водили хороводы, танцевали. «Люблю детский крик на лужайке!» – воскликнул Женя. В этот вечер я довольно быстро потеряла его из вида. Кажется, он был «всем доволен», но ближе к утру по-рыцарски вынырнул откуда-то, осведомился, надо ли меня провожать домой, и, получив «увольнительную», благо другой провожающий был на месте, облегченно пустился в рассуждения, предваряющие вопросы нынешних джентльменов-одесситов: если дама была уведена двумя джентльменами, прилично ли ей быть приведенной обратно одним из них...

...Но особенно глубоко и прочно живут в памяти два связанных с Женей вечера. Вечер проводов его в армию. Женя непривычно тих и серьезен, не скрывает печали своей и растерянности. Мы тогда только что прочли в «Тарусских страницах» «Будь здоров, школяр!» Булата Окуджавы. И пусть мы не на войну провожали, но все-таки... что-то щемящее и незащитное было в нем в этот вечер. Помню, как тревожно звучали нам слова из «Бумажного солдатика», певшегося тогда:

Один солдат на свете жил,
Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был,
Ведь был солдат бумажный...

(Это часто вспоминалось и потом, когда свершилась трагическая судьба Жени.) А в тот вечер проводов старались смеяться и шутить, но на душе у всех было как-то жутковато и неудобно...

Мы с Женей не переписывались – к тому времени у него уже было в Перми (не говоря о других городах...) немало друзей и подруг. Но один раз – не помню, что было толчком-поводом – я ему написала и получила ответ с благодарностью «за широту и объективность информации» о Перми и пермяках, за понимание, что в армии человеку это важно. И, конечно, с разными шутками и шутивными подтекстами. Это письмо вдохновило меня на ответ в стихах:

Ах, как волнуют нас письма солдатские –
Теплые, братские или хохмацкие.
Смотрят с почтением на их треугольники
Взглядом весенним и деда, и школьники.
Сколько пережито и пережито,
Сколько раз убрано с полюшка жито,
Сколько за старых друзей перепито,
Сколько посуды за них перебито!
Сколько, сколько...
Горько, горько!
А что не писала, так это от лени.
К тому же уж движется распределение,
К тому же смугили тут разные вести,
Такие, что прямо застыли на месте
И мне показалось – минуло лет двести!
Теперь уж ведь я написать не посмею,
К примеру, про голубоглазую фею?!

Ты, впрочем, не думай,
Совсем не пьяна я,
И я не угрюма –
Я просто больная!
Такая больная, что прямо потеха,
И если умру я – так это от смеха!
А ты уж кончай,
Другим место дай,
Хватит границы,
Хватит столицы –
В Пермь приезжай!

...Господи, как такие глупости, когда они всплывают в памяти, возвращают тебе целый мир тех давних лет...

...А потом Женя приехал. И вот, по контрасту с вечером проводов очень запомнился один из первых вечеров после его возвращения.

В то лето в Пермь приехала (поступать в университет – из-за возможности сделать это в Киеве) моя двоюродная сестра Инна. Я ее активно знакомила с разными своими друзьями, многих она по моим рассказам знала раньше. Как-то так получилось, что как раз о Жене я ей ничего не рассказывала. Они познакомились «без подготовки» – Женя зашел по какому-то делу к моим родителям, и... то веселое взаимопонимание, что и у нас с ним когда-то возникло так быстро, мгновенно установилось и у них. Подтвердилось мое давнее ощущение: Инна говорила мне, что с Женей сразу почувствовала себя, как со своими киевскими приятелями, что больше ни с кем в Перми у нее такого не возникало.

Было лето, мы наслаждались свободой, я – после года работы в школе в Чусовом ощущала, как мне тогда казалось, нечто похожее на чувства Жени после армии... Отправились втроем гулять, и Женя весь светился осознанной радостью освобождения, наслаждался асфальтированными улицами, огнями, видом с берега Камы, афишами кино. Мы пошли тогда на фильм Ролана Быкова «Айболит 66» и с энтузиазмом распевали, бродя после него по ночным улицам, песню оттуда: «Нормальные герои всегда идут в обход!». И еще: «Это даже хорошо, что пока нам плохо!» (Но на самом деле, нам было хорошо.)

Мы уплетали мороженое с горбушкой хлеба, забрели на Пермь 2, долго шли по камскому берегу. Запомнились три рефрена этого вечера: строчки (рефрен) из сочиненной Женей песни, посвященной прощанию с однополчанами:

Три года отслужили,
Пора домой!

С каким облегчением он напевал это! Эйфория свободы в этот вечер охватила нас всех. Второй рефрен – про «нормальных героев», и третий (впервые прозвучавший минут 10 спустя после знакомства с Инной!): «Линка, где ты взяла (варианты: «нашла», «отхватила») такую сестру?».

Заканчивали вечер часа в два ночи на ступеньке (сели – стоять уже не могли!) нашего дома. Я прикорнула у Жени на плече, проснулась от шепота.

Инна: «Хорошо сидим, но идти надо! Бабушка наша всегда не спит, пока не придем...»

Женя (внешне серьезно-озабоченно): «Да, я понимаю, но что же делать, нельзя же будить человека! Пусть выспится!»

...Таким чудесным вечерам совсем не обязательно иметь банальные продолжения, они и так остаются в памяти...

Как-то в компании молодежи и «взрослых» в те годы заспорили, когда кончается молодость. Кто-то настаивал на 22 годах (конец студенческих лет), кто-то на 25, кто-то на 30. А Ари Янович тогда сказал: «А я не помню, чтобы она у меня кончилась. Наверное, можно и после сорока считать...»

Тон был шуточный, и в свои тогдашние «чуть за 20» я это восприняла только как шутку – на другое «воображения не хватило». То, «другое», что заключалось в этих словах, понимаешь, лишь сама подойдя к тогдашним годам родителей Жени. Думаю, и Женя после своих сорока говорил бы что-то похожее...

И насколько справедливее и правильнее было бы, если бы было возможно всем нам вместе с Женей обращаться памятью к тем годам, когда так хороши, так свежи были розы...

Лина Кертман
01.06.92

ПУСТЬ БУДЕТ БЕЗ ЗАГОЛОВКА

Прочитала то, что написали мои милые друзья. Я так хорошо писать не смогу. И еще мои записки кое в чем будут отличаться от всех предыдущих: для многих встречи с А. Я. – это прекрасные эпизоды, для меня же – это целая полоса жизни. Во многих воспоминаниях говорится – и это естественно – именно об А. Я. Я же могу говорить лишь сразу, вместе, неразрывно об А. Я. и Наталии Самойловне – в моей жизни они друг от друга неотделимы.

И еще две детали о себе – без них как-то не будет ясным то, что хочу сказать. И детство, и юность, и студенчество, и первые годы работы были какими-то очень обыкновенными, ничего «выдающегося»... А вот с 36 лет началась самая прекрасная, интересная полоса в моей жизни, и огромную роль в этом сыграло то, что я попала в изумительную компанию, центром, вершиной, «вдохновителем и организатором» которой были Демьяновы-старшие.

И второе. Где-то после 40 лет во мне оформилось странное, на первый взгляд (но именно только на первый взгляд!), ощущение-убеждение, что я прожила не свою жизнь. Что это значит? А то, что все, что я испытала в жизни, по логике было уготовано не мне. Я не была той, кому суждено было выйти замуж за еврея, остаться работать в университете, защитить диссертацию, побывать во всяких заграничах... Изначально это никак не усматривалось. И вся моя предыдущая жизнь к этому не располагала. Я, конечно, глубоко благодарна судьбе за все это и не только это. Но все это сопряглось с моей жизнью вопреки всяким закономерностям. Так вот, Демьяновы-Лейтесы – это такой же непредполагаемый ранее подарок судьбы, это тоже из «немоей» жизни...

Ну, теперь, кажется, могу по порядку.

В 1974 году я вернулась из Индии, и 7 ноября этого года впервые была в компании, сложившейся вокруг семьи Демьяновых. По прекрасной случайности, почти все «общенародные» праздники совпадали или почти совпадали с семейными праздниками А. Я. и Н. С. – то с днем их свадьбы, то с днем рождения А. Я., так что на официоз накладывалось теплое, лирическое, искреннее...

И демонстрации 1 мая и 7 ноября перестали меня раздражать, поскольку после них мы шли в теплый, гостеприимный дом, умный дом Демьяновых, где всегда были именины сердца (не беру в кавычки сознательно!).

И больше 10 лет жизнь освежалась этими островками счастья. И опять же слово «островок» считаю подходящим: как представишь себе

– кругом «Ура!», «Да здравствует!», «Народ и партия едины!», «Коммунизм – будущее всего человечества!», и т.д., и т.п. – жуть! И среди этой жути, какой-то ирреальности, какой-то антиутопии – умнейшие, все понимающие, глубочайше порядочные, искренние, человечнейшие люди, умеющие вопреки всему острить, веселиться, сочинять шуточные стихи, играть в фанты... Такого не бывает! Но это было!!!

Мне трудно разложить все, что я передумала и перечувствовала при близком знакомстве с этой семьей, на «первые», «вторые», «ранние» и «поздние» впечатления. Поэтому буду рассказывать вне всякой системы.

Когда я впервые «рассмотрела» А. Я., ему было чуть больше 50 лет. Интересно, что мысль о его возрасте не посещала меня до его кончины. Мне как-то в голову не приходило думать о том, сколько ему лет. Он для меня всегда был интереснейшим и красивейшим мужчиной, поэтому какая разница, сколько ему лет. До Соломона Юрьевича (Адливанкина) и Ари Яновича я всегда считала, что поразительная красота и глубокий интеллект – вещи несовместные. И как чудо какое-то воспринимала совмещенность красоты и интеллекта в одном человеке. Но опять же это было.

Красота А. Я. для меня была тоже не какой-то стандартной красотой. Если бы я его не знала и случайно встретила на улице, в поезде, в кино и т.п., я бы сказала, подумала, что это *горит* человек. Кавказец. Правда, не могу сказать, армянин, грузин, дагестанец или еще кто. Но это сначала только. Потом облик кавказца разрушался. Чем? Наверное, глазами. Все-таки у кавказцев нет таких глаз. Они – только у евреев. И манеры не кавказские (хотя, наверное, не мне говорить о манерах разных народов).

И к этому чуду – сплаву красоты и ума – прибавлялось еще: А. Я. был необычайно остроумен, удивительно находчив в плане владения языком. И вот эта триада – ум, красота, остроумие – это то, чего действительно не бывает.

Иногда говорят: такой-то человек заразительно смеется, такой-то человек заражает своей энергией, такой-то – оптимизмом. Ари Янович же с таким вкусом, так всласть, с таким наслаждением... жил, что начинало казаться, что еще можно пережить то, что творилось кругом, что, «когда такие люди в стране советской есть», эта казарма жизни не вечна, что действительно впереди будет что-то светлое. Этот талант жить мне, например, нередко помогал в разных факультетских и вообще советских передрягах.

Или – несколько о другом. Когда не стало Ари Яновича, мы на наших вечеринках перестали танцевать и петь. А тогда – начинала иг-

рать музыка, и А. Я. нежнейше, церемоннейше (я всегда думала: какой прекрасный пример для молодых! Как это хорошо для воспитания!) и как-то подчеркнуто сознательно, на виду у всех на первый танец неизменно приглашал Наталию Самойловну. Боже, как бережно он ее вел! Как изумительно благодарил по окончании танца! Это было всегда и только так!

Я всегда поражалась, как в условиях Совка (так сказать, «социалистического строя») мог сформироваться такой человек, как А. Я. И в этом плане он тоже был прекрасным исключением из правила. Как я теперь понимаю, в слова «такой человек» я вкладывала еще знания А. Я. того, чего обычные люди не знали, – запрещенных поэтов, песен, стихов. И то, что подобные поэтические строки для меня звучали только на этих наших вечеринках, опять же придавало им какое-то очарование счастливых островов еще и еще раз.

И я долго не могла поверить, что эти умнейшие, прекраснейшие люди считают меня достойной своей компании («нет, такого не бывает», – все время повторяла я самой себе тогда). И все это во много раз увеличивало мое ощущение, что это происходит не со мной. Как это я вдруг в такой замечательной компании?

И вообще, я стала такой, какая я есть, очень во многом благодаря тому, что самую прекрасную пору жизни своей я была среди этих прекрасных людей (А. Я. и Н. С. прежде всего).

В свою вторую заграничную поездку, в ГДР, я уехала, уже считая себя (со счастливым замиранием сердца) человеком, входящим в круг друзей Демьяновых. К Новому году (1976) А. Я. прислал мне поздравление, какое мог прислать только он: помимо теплых слов и пожеланий, там была какая-то логико-лингвистическая задача, которую мне надо было решить и в ответе А. Я. свое решение описать. Я помаялась. Но решила. И, очень гордая собой, написала А. Я. об этом...

А когда я после каникул отправлялась в свою третью заграничную поездку – в Норвегию – А. Я. уже был в больнице. Я зашла попрощаться, всячески убеждая себя, что я прощаюсь просто до следующего приезда. Я страстно хотела в это верить! Но... это оказалось прощание навсегда.

Для меня с А. Я. ушла действительно часть жизни. Самая чудесная.

Но жизнь есть жизнь, и А. Я. во мне остался Человеком Живущим. В полном смысле этого слова.

Людмила Грузберг
07.08.92

ЖЕНЯ И СЕМЬЯ ДЕМЬЯНОВЫХ В МОЕЙ ЖИЗНИ

7 сентября 1992 года. День рождения Жени. И последний вечер, как ослепительный свет навсегда угаснувшей звезды – полной семьи Демьяновых. И ничего нельзя сделать, как в тот день, когда, узнав в Ромахино о смерти Жени и приехав в свою однокомнатную квартиру, полученную Женей, я сидела на краю ванны, держа лицо под струей воды, чтобы унять слезы, била ладонью о край ванны, чтобы прийти в себя. Нет! – кричала я тихо, но изо всех сил. Нет, нет!

Женя осчастливил мою раннюю юность. Бог дал мне его просто так, может быть, наградил моих родителей за их добродетели – пусть их дочка, смеясь, идет по жизни. Тогда я этого не знала. Когда на катке в Ижевске – главном месте гуляния подростков – он кружил около, я очень удивлялась. Я не умела кататься, юбка платьишка застывала в ледяной корке, ноги ковыляли. Ну ладно, кружит и кружит...

Идем в театр, Женя пригласил меня.

– Деньги на билет есть?

– Нет.

– А я не беру деньги у родителей, придется идти через служебный ход.

Спускается женщина с интеллигентным лицом:

– Женечка, дорогой мой, как же долго тебя не было!

Мы, без проблем, в первом ряду. Первый удар: этот мальчишка, которого встречает известная артистка с нежностью, который запросто может проходить через служебный ход, почему-то непременно хочет проходить по билету.

По телефону мы говорили часами. Я читала все сказки на свете, фантастику и случайно то, что Женя не читал. Писала дневники по ночам. И мне нравилось, что он один знает меня такой, какой не знает никто! Встретились однажды перед моим домом на Пушкинской, на руках у Жени Алик, на них обоих солнце светит. Веснушки у Жени сияют. Шея длинная, но не тощая, стройная. Улыбка сияет. Опять говорим, стоим долго. А я стараюсь скорее, быстрее прочитать то, о чем он говорит. Ах, Сэлинджер, «Над пропастью во ржи». Ах, Стейнбек, «Зима тревоги нашей»... Это ижевский подростковый период.

Мария Аркадьевна в Москве на Большом Гнездиновском:

– Да ты же фарфоровая статуэтка, я не буду приглашать к себе молодых людей, Женечка рассердится.

Женя: – Ах, мой малыш!

А потом Казань. Первый курс. И письма Жени через всю мою юность. Боже мой! В тайге, в скалах, куда проходил только караван

лошадей с продовольствием, я получала голубые яркие конверты «Авиа». Это не я поддерживала его в армии, это он раскрепостил меня и дал уверенность в себе. Это был непрерывный поток манны небесной, животворные, теплые струи... Поток струился, грел меня... Письма Жени, пленительные, изысканные, прекрасные. И никто не знает, что у меня есть. Клубок света лежит тихонько. Думать даже страшно. И я одна с этим. И нет такого человека в этом мире, кому я могу передать эти письма. А если я умру, эта пленительная энергетика куда улетит? Люди, скажите, что же мне делать?.. Этот пресловутый юношеский эгоизм, которого в Жене вообще не было. Если он отдавал душу свою, то не по крохам, а водопадами, смеясь и радуясь... Воспоминания жгут меня... Он до блеска вычистил мою юность, ничего грязного и нечестного я и подумать не могла, не то что сделать. Он вел меня впотьмах на яркий свет.

Ари Янович. Пожалуй, Ари Янович исцелял меня смехом. У него были теплые и сухие ладони. На Большом Гнездиновском он слушал Галича. А я никак не могла поверить, что этот человек Женин отец. Он был безумно красив (Н. С. говорила, что в молодости он тоже был тощ и сух). И мне хотелось непрерывно смотреть ему в лицо, но даже при своей стерильной невоспитанности я понимала, что делать это нельзя.

По прошествии времени, конечно, ясно, что исходящая от всей семьи духовность помечала избранничеством всех, соприкоснувшихся с ней. Мы с Женой жили рядом с А. Я и Н. С. Но молодыми были они. Потому что от них шла гармония. Только с гармонией в душе можно было до седых волос беспечно веселиться рядом друг с другом.

Благодаря А. Я. я поняла суть еврейства на этой земле. В фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика» (замечательный фильм) старик в белой рубахе отправляет внука на урок игры на скрипке. Старик очень старый, комната у него очень бедная. Глаза у него огромные, руки жилистые. Оба, дедушка и внук, так щемяще беззащитны, у них есть только сердечность и высокая духовность...

Мы гуляли с Женой по Советской (в Ижевске). Я тогда не различала ни народов, ни наций. Женя говорит: «Я еврей». А я остановилась и смотрю: «Не может быть, ты не еврей». Он захохотал, закинув голову....

Ну, как бы я без этой семьи стала понимать живопись, различать, в каких полотнах есть духовность, энергетика, а в каких нет?

Ари Янович, можно сказать, никогда мне не изменял. Раз приняв меня, он уже не отталкивал меня никогда. А я его обожала.

Ну вот, опять слезы...

Мой второй муж ревновал к Ари Яновичу, ничего не понимая. Каков же был его сын, если А. Я. так возмутительно молод и красив.

А. Я. и Н. С. приходят на день рождения Никиты в нашу однокомнатную, а я горда тем, что нет границ между поколениями.

Я слаба, хотя и жила рядом с ними, мне не вобрать и грана духовности их. Это очень нелегко, очень тяжело. Это им легко, им это просто, они в другом пространстве живут, а мне еще надо карабкаться по скалам, и камни падают на голову.

Ари Янович очень редко ходил дома в пижаме. Он с утра был одет и при галстукке. И на кухне никогда не появлялся в negligé. И ел очень красиво, по всем правилам. А за столом читали или веселились до упаду. Моего, во всяком случае. Ари Янович изображал мои «Какой кошмар!» и «Вы что бросаете на меня взгляды?» и т.п. до такой степени смешно, что я ухорила хохотать уже на своей постели. Иногда они изображали Винни Пуха с осликом Иа, и я опять говорила: «Пощадите, я уже не могу хохотать».

Н. С. вела этот огромный дом, мне казалось, походя. Вот она сидит и сидит за секретером, заменявшим ей письменный стол, но все тазы заполнены ягодами, засыпанными сахаром. Она бесконечно сидит и стучит на пишущей машинке. Но бочка полна капусты, обеды готовятся молниеносно. Походя, с блеском, с сочетаниями необыкновенными: мясо с яблоками, лапша с сухофруктами, супы фруктовые, борщи вегетерианские, супы всевозможные. Н. С. ничуть не занимало, что я что-то делаю на плите. Она читала и ела мою пережаренную печень, не отрываясь от журнала и говоря при этом: «Мне кажется, Галочка, что с печенью ты делаешь что-то не то». Оказывается, готовность жареной печени, которая была самым рядовым блюдом, определялась готовностью лука, лежа на котором она жарилась.

А торты, а кремы, а соусы! Сейчас-то я знаю, что Н. С. вела дом с блеском. Встать из-за письменного стола и приготовить обед за полчаса... Сколько битов информации надо было держать в голове!.. Она мне близка по духу как женщина, и дома, с А. Я. бывала сама, как девочка, капризна и лукава. Ну, я не знаю таких слов, чтобы рассказать о них. Они оба меня поражали...

...А. Я. входит в дом, вернувшись из командировки, домочадцы все в кругу, а он протягивает руки к Н.С., никого не видит: «Талочка, Дорогая»... А Н. С. стоит у двери, руки за спиной, а лицо... вот тут-то у меня и нет слов... Потом думаешь, что же это такое было в воздухе? Это не чувство зависти, а жажда постижения истины, может быть.

А. Я. был весел и беспечен, раскладывал пасьянс, играли в канасту всей семьей. И никогда не было денег – ни машины, ни дачи. Деньги уходили на поездки, на отдых.

...Вот Женя сидит на кухне за круглым столом, собирается есть и просит Алика подать ему ложку. Алик приносит половник, Женя начинает опускать его в суп, а глаза смотрят в книгу. И тут он бросает взгляд на Алика, и оба хохочут... Постоянные розыгрыши. Помилуйте, с этим интеллектуализмом можно свихнуться без юмора и розыгрышей. Это защита мозга.

Я помню то лицо Алика. Яник очень похож на него. И так же рядом улыбки и серьезность. Все-таки Яник еврейский мальчик. Надо внушать Янику беспечность и радость, надо создать вокруг него легкий, веселый мир с юмором и розыгрышами. Ведь он в разлуке с матерью. И Алик в разлуке с матерью. Дорогая Н.С.! Вам нельзя жить здесь, Вам необходимо быть там. Вы же будете смеяться, дух Ари Яновича витает – он не может желать вам слез, он может желать только радости. Его дух жив вашей радостью.

Галя Демьянова
08.09.92

СПАСИБО!

Всякое воспоминание, очевидно, чревато своей неполнотой. Так и сейчас – частями, кусками, новыми отрывками, отдельными словами, репликами (надо только слегка напрячься!), сценами в памяти – встает живой Ари Янович, и снова хочется говорить о нем. Жаль, что в доме ремонт и давление развала, тюков, свертков, корзин и коробок мешает предаться стихии чудесных воспоминаний, оказавшихся неожиданно такими важными для меня и такими неотъемлемыми от моей жизни.

...Остаются считанные часы до отъезда Наталии Самойловой, и одиночество наше, остающихся жить в Перми, сужается, грусть расставания усиливает близость, неизбежность разлуки, очерчивает границу между жизнью прежней, оказавшейся такой счастливой и полной, и жизнью новой, совсем неясной и незаманчивой. Только теперь приходят оценки и переоценки, и только теперь понимаешь, что та орбита, на которой крутились все мы, была настоящей и правильной. Дело тут не в застольях, остротах, песнях и играх, а в самой основе,

которая нас сближала и притягивала. Поколения были разные, и старшие тянули нас из пещеры сталинизма и догматизма к истинному существованию, начавшемуся для нас довольно поздно. Тянули не наставлениями и дидактикой, а собственной природой, скроенной каким-то чудом по иным образцам и другим лекалам. Ари Янович был одним из таких естественных наставников. Он был ярким и типичным шестидесятником, шестидесятником еще до того, как наступили шестидесятые, потому что всей своей органикой олицетворял свободную гуманитарность, оппозицию всякому застою и тлению, открытый демократизм, политическую и социальную зрелость, духовную и гражданскую раскованность. Это было чрезвычайно важно и имело определяющее значение для нас, шедших следом за его поколением. Мы были жуткими созданиями, уродами советской системы, и один бог знает, что стало бы с нами, не окажись мы в той среде, где были Кертманы и Демьяновы, Сахарные и Адливанкины, вообще люди, каким-то образом жившие в той системе, но не удушенные ею. Поэтому вполне понятно, закономерно и естественно, что, когда наступила оттепель и политической эпохой стали шестидесятые годы, эти люди оказались в эпицентре обновления. А мы прозревали и тянулись за ними. Это была благословенная судьба. Каким-то чудом мы совмещали человеческую чистоту и гражданскую дрему, честь, природные мозги (надеюсь!) и тупость, творческий порыв и махровый догматизм. Мы были совковые гибриды, а наша политическая инфантильность доходила до анекдотов и абсурда. Помню, когда случились пражские события, вошли в Чехию наши танки, а на главной площади Праги молодой чех совершил самоубийство, мы вечером собрались в кабинете Льва Ефимовича. Признаюсь, что я ничегошеньки не понимала в происшедшем и глупо повторяла только одно: «Ну зачем он сжег себя?» Помню, как многозначительно молчала Комина, подбирал точные и аккуратные объяснения Лев Ефимович, а Ари Янович просто и с юмором сказал: «Ну, Ниночка, ему не понравились наши танки. Ведь могли ему не понравиться наши танки?» Наше просыпание и выход из спячки (мои уж точно!) были медленными и трудными. Я долго, например, не понимала, почему Ари Янович скептически относился к моему вояжу на Кубу, который для меня был куском жизни, и весьма значительным. Объяснений на эту тему не было, но однажды он (тоже с иронией) заметил: «Далеко же Вам пришлось слетать, чтобы убедиться в красоте Фиделя?» – «Но, Ари Янович, не это было главным». – «Ах да, понимаю, главным были красные знамена». Очевидно, уже тогда он усматривал в этом романтизме его экзотическую пустопорожность, а во всей возне с Кубой – потешную политическую возню. Не знаю, точно не ручаюсь,

что именно так он думал, мы с ним никогда не говорили серьезно (очень жаль!), но его иронические намеки и подтексты выражали какую-то иную позицию, которая окрашивала мою святую убежденность в иные тона, и над ними следовало подумать. Я не пересматриваю эпизод с Кубой и никогда не пересмотрю его (даже сегодня, когда эта игра оказалась нашим очередным блефом), потому что это была прекрасная пора, святая молодость с ее чистотой, верой, страстью. Сказать хочу о другом: Ари Янович при поверхностном знакомстве казался «гулякой праздным», начиненным стихами, остротами, шутками. Но в нем была и подлинная моцартианская глубина, прозорливость, чутье, видение, позволявшие ему возвышаться над эмпирикой и делавшие его человеком умным и значительным. Его законченное шестидесятиничество — прекрасный пример. Оно не только с ходу ввело его в круг семьи и дома Кертманов, но и, безусловно, расширяло и обогащало контекст пермского интерьера и пермской жизни, делало его важным для многих из нас, необходимым для нашего прозрения и развития. Ари Янович, спасибо!!

...И другое. В городе с приездом Наталии Самойловны и Ари Яновича образовался дом Демьяновых. Я не была его постоянным посетителем, но в разное время и по разным поводам приходила в этот дом. Сначала в типовую трехкомнатную хрущевку на ул. Газеты Звезда, рядом с бассейном, затем в антикварный особняк по ул. Ленина с его пастернаковским воздухом (через «Детство Люверс», где события происходят, якобы именно в этом особняке), позже — в новую хорошую квартиру в новом доме на ул. Кирова за библиотекой Горького. Дома и квартиры менялись, но дух семьи оставался — открытый, доброжелательный, с его радостью по отношению к приходящим, хлебосольством, готовностью поделить время и настроение с гостями.

Вероятно, в этом нет ничего особенного, такие дома в Перми были всегда, они всегда воплощали свет и тепло сугубо провинциальной «тесноты ряда» (Тынянов?), но для меня это имело особый смысл и как-то компенсировало несозданный свой дом. Муж, в общем, не любил людей, шумного застолья, не радовался приходящим. А я, напротив, очень хотела, чтобы люди шли к нам и чтобы мы были открыты для них. Увы... Идеал такого дома воплощался моими друзьями. Я не пишу здесь о Кертманах, которые были частью сердца и вторым родным домом. Но и дом Демьяновых, существовавший отдаленно, незримо и неосознанно входил в ощущение климата города, был нужен, жил для меня потенциально. Это как с совсем уж далекими людьми бывает: например, я никогда не была дома ни у Назаровского, ни у Гинца, но все они были частью необходимого микроклимата, воспри-

нимались как круг, без которого жизнь пуста и холодна. Вероятно, плохо выражаю свою мысль, но хочу сказать, что дом Демьяновых восполнял для меня существенный пробел в собственной жизни, его атмосфера входила в воздух и ощущение дома вообще. У дома Демьяновых была своя душа, свое тепло. А «Талочка», произнесенное Ари Яновичем от всего сердца, грело и всех. Ари Янович, спасибо!! И прощайте.

...Наталья Самойловна, ну, вот и все. Приобретаешь, когда теряешь, – так уж устроено. Но хорошо, что не совсем поздно. Жаль, что не прозвучит больше Ваш здоровый голос на наших ученых советах, не встретится Ваша спешащая фигурка в коридоре, не будет услышан Ваш тембр в телефонной трубке. Но будет в душе, в памяти, в сердце Ваш ум, талант, доброта, мудрость, жизнестойкость и многое другое, чему нет названия, но что никогда не уйдет из «состава личности». А потому не станем отчаиваться, будем по возможности сильными и счастливыми. Ари Янович хотел бы именно этого. Спасибо Вам, спасибо за все!!!

Нина
12.09.92, Пермь.

* * *

С уходом Оси остались заботы о детях, осталась работа, остались друзья, число которых, правда, заметно уменьшилось с тех пор. И в то же время было чувство, что не осталось ничего. Оно не исчезло. Я продолжаю и теперь, через 12 лет после его ухода, постоянно чувствовать противоестественность своей жизни без него. Да, человек есть только половинка, мне довелось глубоко познать эту истину.

Я бесконечно благодарна моим друзьям за написанные ими строки, приведенные мною выше. Возможно, в каких-то моментах они оценили моих любимых, а тем более меня, слишком высоко. Но в главном их ощущение атмосферы нашей с Осей семьи и нашей внутренней близости с ними, нашими друзьями, совпадает с моим. Наша семья была внутренне очень свободной. Откуда было это в нас? Вероятно, в нас сохранилось нечто от романтизма, оставшегося еще с предреволюционных и революционных лет. Возможно, чувство независимости было заложено в нас генетически, и мы передали его детям, отчего у них было немало неприятностей и в школе, и после нее. Без сомнения, сыграли немалую роль Осина мама и мои родители, сыграла роль школа, еще далекая от формализма и лицемерия в те годы, когда учились мы с Осей. Я уже писала здесь о роли дружбы в нашей жизни.

Как бы мы могли жить в Перми, как могли бы сохранить атмосферу нашей семьи, если бы не друзья? А как могла бы я прожить там целых семь лет без Оси, если бы не они?

Вначале, после ухода Оси, мы с Аликом жили вдвоем, потом Алик уехал в Москву в аспирантуру, а у меня поселился Максим, сын Лени. Но через два года уехал и он, переведясь благодаря усилиям Лени, который жил в то время в Москве, в московский мединститут. Я осталась одна. Как бы я могла жить в этом городе, если бы не Сарра (она тоже вскоре овдовела), Рита, Наташа Петрова, Изя Смирин (тогда он был еще жив), Таня Филановская, Грузберги и многие другие? Как бы я могла жить здесь, в Америке, без их писем, без ощущения духовного родства с ними?

Но идет, к моему горю, естественная и противоестественная убыль среди друзей, и я получаю сюда, в Америку, много печальных вестей. Фиры, Бориса Осиповича Кормана, Льва Ефимовича Кертмана, Соломона Юрьевича Адливанкина, Резо Каралашвили, Алика Карельского, Жоры Голубова не стало, когда я была еще в России, позже ушли из жизни Изя и Ида Смирины, Инна Бернштейн, Римма Комина, Ленья Мурзин, Ленья Сахарный. Пустеет мой мир. Обрела ли я здесь, в Америке, новый? Отчасти. Я увидела, пусть и не всю, Америку. Я стала, пусть и далеко не совершенно, говорить по-английски. Я занимаюсь с детьми, приехавшими из России, русским языком, который они забывают здесь очень быстро. Я научила, по крайней мере, одного мальчика, Женю Калюжного, читать русскую классику со вкусом и наслаждаться своеобразием стиля. Я написала здесь ряд статей о том, о чем мне захотелось написать, без всякого плана научной работы, без всяких внешних обязательств – о Довлатове, Филипе Роте, Вуди Аллене, Фолкнере, Нагибине, Генри Миллере, Курте Воннегуте, о детских поэтах Америки, о народных сказках, иронически перелицованных одним остроумным писателем, Гарнером, в духе *politically correct*, о Доре Штурман, о неожиданной проблемной перекличке между романом У.Фолкнера «Свет в августе» и повестью Ю.Нагибина «Тьма в конце туннеля», показавшейся мне знаменательной, о моем друге и коллеге Елене Александровне Миллиор, о моей поездке в Израиль и о литературе этой страны.

Да, наконец-то я смогла поехать в Израиль, и он произвел на меня глубочайшее впечатление. Я даже не представляла себе, что возможно такое живое чувство непосредственного прикосновения к самым истокам существования Человека, такое ощущение бездонной глубины истории и внутренней близости к самым далеким ее пластам. Там просто видишь, что находишься на стыке Земли и Вселенной, Конечного и

Бесконечного, и понимаешь, почему именно там родился анекдот о линиях телефонной связи. Два президента беседуют на эту тему. Американский говорит: «У меня в стране три линии телефонной связи. Одна, дешевая, – местная, другая, подороже, – международная, а третья, самая дорогая, – линия связи с Богом». Израильский президент отвечает: «А в моей стране хватает двух, с Богом мы разговариваем по местной линии». Маленький Израиль, окруженный арабскими государствами – это одна из горячих точек в современном, далеко не всюду мирном мире. Там ситуация сложная. Но сегодняшние тревоги не ослабляют этого удивительного ощущения близости к Бесконечности и во Времени и в Пространстве.

В Израиле я встретила после многолетней разлуки с Дорой Шток, носящей теперь фамилию Тиктина и пользующейся псевдонимом Дора Штурман. Она и ее муж Сергей Тиктин – немолодые, большие люди с потрясающей творческой энергией. Они работают как целый научный коллектив, и вдвоем, и порознь, неизменно помогая друг другу и спеша сделать как можно больше в деле, которое они считают своей миссией: в развенчании теории и практики социализма. Дора стала автором-публицистом с международным именем, она печатается очень широко. Сергей опубликовал книгу о Чернобыле, раскрывающую истинные масштабы бедствия, порожденного взрывом на этой атомной станции. Не скрою, что кое-что в Доре для меня неприемлемо. Она была и осталась, прежде всего, политическим борцом, и это делает ее, при всей ее удивительной доброте, несправедливой к тем людям, кто не способен к подобной последовательности или в чем-то стоит на других позициях. Ее кумиром сделался Александр Солженицын, и она резко критиковала тех, кто не во всем поддерживает его. Андрей Синявский полемизировал с Солженицыным, и Дора посвятила Синявскому прямо-таки уничтожающую статью. Лев Копелев вступил в конфликт с Солженицыным, и Дора назвала главу о Льве в своей книге «Современники» «Совок в разрезе». Я не советовала ей печатать эту книгу, будучи совершенно уверенной, что Лев Копелев вовсе не тот человек, на которого следует обрушивать едкие сарказмы. Степан Зальгин, главный редактор «Нового мира», отказался опубликовать «Современники» в этом журнале, как сообщила мне Дора, но она убеждена в своей правоте и надеется, что книга все равно где-нибудь выйдет. Жесткость идеологической позиции подавляет в ней порой эстетическое чувство, о чем свидетельствуют иные ее оценки художественных произведений, например, романа Солженицына «Красное колесо», который кажется ей чуть ли не вершиной художественного мастерства. Все это не по мне. Мне как раз очень нравятся некоторые

вещи Синявского, особенно «Прогулки с Пушкиным», а «Красное колесо» Солженицына не нравится вовсе – скрещивание исторического исследования с художественной прозой, с моей точки зрения, не удалось. Оно выглядит крайне неорганично, и претензии на художественность в данном случае не оправданы. Но эти расхождения во мнениях ничего не меняют в моей привязанности и сердечном доверии к Доре. Я давно уже поняла, что человек не исчерпывается своей идеологической позицией, более того – она не главное в его духовной сущности. И хотя не все радует меня в Доре, я люблю ее и во многом верю ей.

Здесь, в Америке, я работала волонтером в школе, помогая детям, только что приехавшим из СНГ и еще совсем не знающим английского. Я поступила в колледж на гуманитарное отделение (Liberal Art), чтобы лучше изучить язык. Я организовала в доме для пожилых, в котором живу, класс изучения английского языка и в течение двух лет ходила на все занятия, переводя на русский для молодых его учеников все, что было им непонятно. Я пишу обо всем этом не для того, чтобы хвалиться, – хвалиться, собственно, нечем, – а для того, чтобы рассказать, как мне приходится бороться здесь за то, чтобы чувствовать себя живущей, что я живу. Иногда я очень рада, что я здесь – это прекрасная страна, а иногда тоскую по прошлой моей жизни. Поздно вато я приехала сюда, по годам моим мне уже время не жить, а доживать. Но я пока так не умею и пытаюсь, с большим или меньшим успехом, жить. Мне помогает в этом память об Осе и Женечке, мне помогают мои дети и внуки, помогают мои друзья, живые и мертвые, оставшиеся со мной и во мне.

Оглядываясь назад, я понимаю, что при всех трудностях и утратах жизнь и моих родителей, и моя с Осей была достойной и счастливой. Она могла бы быть, возможно, более счастливой, если бы не преграды, вновь и вновь возникавшие перед всеми нами. Но у нас с Осей было множество замечательных друзей, у меня были прекрасные учителя и ученики. Пусть все будет теперь хорошо у детей.

Приехал в США и Юра с женой, приехала его младшая дочь Елена с семьей. Они обосновались в Чикаго, где за год до их прибытия поселилась старшая дочь Юры Ирина с мужем и сыном. Здесь Идочка перенесла тяжелейшую операцию на сердце, ей в США в буквальном смысле слова спасли жизнь. У меня тоже была здесь серьезная операция и три помельче. Так что при всех сложностях приезд сюда оказался благом и для нас, далеко уже не молодых. Что ждало бы нас там с нашими болезнями?

Здесь, в Америке, начался новый этап истории семьи Лейтесов-Демьяновых. Правда, не все мы собрались в этой стране. Дети Женеч-

ки, Никита и Антон, и сейчас живут в Перми. Старшая дочь Лени Наташа – в Израиле. Семью разбросало по миру. Максим тоже долго был в Израиле, но недавно соединился с отцом. На днях начинает учиться в местном университете. Освоит английский и пойдет на стоматологический, ему обещали зачесть оценки, полученные им ранее в мединститутах Перми и Москвы.

Время нашего поколения кончается, теперь речь должна идти о наших детях и внуках. Но пусть дети сами напишут о своем времени и о себе для наших внуков и правнуков, тем более что их взгляд на вещи наверняка во многом окажется другим.

Май 1992 – июль 1997.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора.....	5
Введение	15
Начало. Мои родители. Мое детство. Запорожье.....	17
Юность. ИФЛИ. Москва.....	31
Осина семья.....	40
Перед войной. Замужество	50
Война.....	53
Война продолжается. Дагестан. Опять Москва. Курган.....	61
После войны. Снова Запорожье. Борьба с космополитизмом.....	83
Ижевск	92
30 лет в Перми. Отъезд в Америку.....	107

Лейтес Наталия Самойловна

**ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ:
СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ**

Редактор *Н.С. Оленева*
Корректор *Г.В. Петрова*
Компьютерная верстка *И.В. Козлова*

Подписано в печать 05.11.2015. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 10,7. Тираж 100 экз. Заказ ____

Издательский центр
Пермского государственного
национального исследовательского университета.
614990, г. Пермь, ГСП, ул. А.И. Букирева, 15